

Роберт Музиль Три женщины

ГРИДЖИЯ

В жизни наступает однажды срок, когда она резко замедляет ход, будто не решается идти дальше или хочет переменить направление. Может статься, в такую пору человек легче подвержен несчастью.

У Гомо разболелся маленький сын; тянулось это уже год, без видимых улучшений, хотя и не грозило особой опасностью; врач настаивал на длительном курортном лечении, а Гомо не мог решиться уехать с семьей. Ему казалось, что такое путешествие слишком надолго оторвет его от него самого, от его книг, планов, от всей его жизни. Он воспринимал это свое нежелание как признак крайней самовлюбленности, но, может быть, здесь выразилось скорее некое самоотрешение, - ведь с тех пор он ни разу на единый даже день не разлучался с женой; он очень любил ее, любил и сейчас, но с появлением ребенка вдруг оказалось, что эта любовь способна дать трещину - как камень, который просочившаяся в него вода расщепляет все упорней. Этому новому свойству, геологи называют его отдельностью, - Гомо не переставал удивляться, тем более что вовсе не ощущал, чтобы самой его любви за минувшее время сколько-нибудь убыло, и в продолжение всех бесконечно затянувшихся сборов семейства к отъезду он тщетно пытался представить себе, как проведет один наступающее лето. Но он испытывал решительное отвращение ко всякого рода морским и горным курортам. Он остался один и назавтра получил письмо, в котором ему предлагали стать компаньоном общества по разработке старых венецианских золотых рудников в Ферзенской долине. Письмо было от некоего господина Моцарта Амадео Хоффинготта, с которым он познакомился однажды в поездке и был дружен в течение нескольких дней.

Тем не менее Гомо нисколько не усомнился в том, что речь идет о вполне солидном, достойном начинании. Он послал две телеграммы: одной он извещал жену, что срочно уезжает и сообщит о своем местопребывании позже; в другой изъявлял согласие принять участие в разведочных работах в качестве геолога и, возможно, внести в предприятие определенный денежный пай.

В П., неприступно-зажиточном итальянском городе, разбогатевшем на виноделии и шелководстве, он встретился с Хоффинготтом, крупным, красивым, деятельным брюнетом одних с ним лет. Компания, как ему было сообщено, располагает внушительными средствами из американских источников, и дело будет поставлено на широкую ногу. Пока же велись приготовления к экспедиции, которая - в составе их двоих и еще трех пайщиков - снаряжалась в глубь долины: покупали лошадей, ожидали прибытия инструментов, вербовали подсобную силу.

Гомо остановился не в гостинице, а, сам не зная почему, у одного итальянского знакомого Хоффинготта. Там ему бросились в глаза три вещи. Мягкие постели, несказанно прохладные, в красивом обрамлении красного дерева; обои с несказанно сумбурным, безвкусным, но на свой лад неповторимым и диковинным рисунком; и качалка из тростника, - раскачиваясь в ней и неотрывно глядя на обои, человек постепенно будто растворяется в этих мерно вздымающихся и опадающих дебрях, которые за какие-нибудь две секунды из ничего вырастают до натуральных размеров и затем снова сходят почти на нет.

А на улицах воздух был смесью снега и юга. Стояла середина мая. По вечерам городок освещался большими дугowymi лампами, так высоко висевшими на протянутых поперек проезжей части проводах, что улицы лежали внизу, как глубокие синие ущелья, по темному дну которых приходилось пробираться людям, в то время как бездна пространства над ними была наполнена шипеньем раскачивающихся белых солнц. Днем открывался вид на

виноградники и леса. Это все перезимовало в багрянце, охре и зелени; поскольку деревья не сбрасывали листву, тлен и свежесть переплетались в их убранстве, как в кладбищенских венках, и крохотные, но отчетливо различимые среди них красные, голубые и розовые домики были вкраплены там и сям как разноцветные игральные кости, бесстрастно являя миру неведомый им самим причудливый формальный закон. В вышине же лес был темным, и гора называлась Сельвот. Поверх леса ее одевали снежные альпийские луга; размеренными волнами они набегали на соседние горы, сопровождая узкую, круто уходящую ввысь долину, в которую предстояло углубиться экспедиции. Случалось, что пастухи, спускавшиеся с этих гор, чтобы доставить молоко и купить поленту, приносили огромные друзы горного хрусталя или аметиста, которые, - по их словам, росли в многочисленных расщелинах так буйно, точно цветы на лугу, и эти пугающе великолепные сказочные образования усиливали впечатление, что под видимой оболочкой этого края, мерцающей странно знакомо, будто звезды в иную ночь, скрывается что-то томительно желанное. Когда они въехали в долину и около шести утра миновали Сан-Орсолу, у маленького каменного моста, перекинутого через заросший кустарником горный ручей, гремела если не сотня, то уж, по крайней мере, дюжина соловьев; сиял ясный день.

Проехав дальше вглубь, они очутились в удивительном месте. Селение прилепилось на склоне холма; ведущая к нему горная тропинка под конец буквально перескакивала с одного плоского камня на другой, а от образованной таким образом улицы сбегали по склону к лугам, подобно извилистым ручьям, несколько коротеньких, почти отвесных проулков. Стоя на тропе, вы видели перед собой лишь ветхие, убогие крестьянские домишки; но, глядя на них снизу, с лугов, вы словно переносились через века в первобытную деревню на сваях, потому что стороной, обращенной к долине, дома стояли на высоких столбах, а нужники парили над обрывом чуть поодаль, как паланкины, на четырех тонких, высотой с дерево, жердях. И ландшафт вокруг деревушки был тоже не без примечательных странностей. Его образовывала раскинувшаяся обширным полукружием и униженная зубцами утесов громада высоких гор, отвесно ниспадавших к пологому скату, который опоясывал возвышавшийся в центре лесистый конус меньшего размера, благодаря чему все это напоминало пустую пирожницу с коническим выступом в середине, а так как краешек ее был отрезан бегущим в теснине ручьем, она в этом месте как бы кренилась над ущельем в сторону высокого противоположного берега, спускавшегося вместе с ручьем к долине и приютившего на себе деревушку. Кое-где виднелись заснеженные ложбины с низкорослыми горными соснами, меж которых мелькали одинокие косули, на лесистой вершине конуса уже токовал тетерев, а на лугах с солнечной стороны цвели цветы, высыпав желтыми, синими и белыми звездами, такими крупными, будто кто-то вытряхнул мешок с талерами в траву. Стоило же подняться за деревушкой еще футов на сто, как вы попадали на ровную, сравнительно неширокую площадку, на которой располагались огороды, выгоны, сеновалы и редкие домишки, а на выдававшемся в долину уступе примостилась скромная церковка и глядела оттуда на мир, что простирался в ясные дни перед долиной, как море перед устьем реки; лишь с трудом различал глаз, где еще была золотисто-палевая даль благословенной равнины, а где уже начинались неверные облачные уголья небес.

Прекрасной обещала быть жизнь, бравшая здесь начало. Дни напролет в горах, где они расчищали засыпанные входы в старые штольни и копали новые шурфы, или на спусках к долине, где прокладывали широкое шоссе, - в этом необъятном воздухе, уже мягком и влажном, уже чреватом близким таянием снегов. Они швыряли деньги направо и налево и распоряжались здесь как боги. Нашли дело для всех - и для мужчин, и для женщин. Из мужчин составляли поисковые отряды и засылали их в горы, где те пропадали по целым неделям, из женщин формировали колонны носильщиков, доставлявших инструменты и провизию по едва проходимым тропам. Каменное здание школы было приспособлено под факторию, оно служило для хранения продуктов и других товаров; там повелительный хозяйский голос поименно выкликал судачивших в ожидании своей очереди крестьянок, и объемистые заплечные корзины нагружались каждый раз до тех пор, пока не подгибались

колени и не вздувались жилы на шее. Навьючат вот такую крепкую красивую молодку - и глаза у нее вылезают из орбит, и рот уже не закрывается; она встает в ряд, и по сигналу хозяина все эти притихшие животные одно за другим начинают медленно переставлять ноги, поднимаясь в гору по длинным змеистым тропинкам. Но несли они драгоценный редкий груз: хлеб, мясо, вино, - а железные инструменты никто особенно не учитывал, так что, кроме платы наличными, перепадало и немало из того, что могло пригодиться в хозяйстве, поэтому они тащили нелегкий груз охотно и еще благодарили чужаков, принесших благословение в горы. И это было великолепное чувство; здесь пришельца никто не оценивал, как повсюду в мире, что он за человек, - солиден ли, влиятелен и опасен или хрупок и красив, - здесь, каким бы человеком он ни был и какое бы понятие ни имел о делах жизни, его встречала любовь, потому что с ним пришло благословение; любовь опережала его, как герольд, повсюду была для него наготове, как свежепостланная постель, и человек в самом взгляде нес дары гостеприимства. У женщин эти чувства изливались непринужденнее, но иногда на какой-нибудь луговине вдруг вырастал древний старик крестьянин и приветственно взмахивал косой, как сама смерть во плоти.

Вообще в этом конце долины жили своеобразные люди. Их предки - рудокопы прибыли сюда из Германии еще во времена Тридентского собора и с тех пор выветрелым немецким камнем росли меж итальянцев в здешнюю землю. Обычаи своей прежней жизни они наполовину сохранили, наполовину забыли, а то, что сохранили, уже, похоже, и сами не понимали. Весной бурные ручьи с гор вымывали у них почву из-под ног, некоторые дома, стоявшие прежде на холме, повисали над краем пропасти, а их это ничуть не беспокоило; с другой же стороны, мутные волны новых времен прибывали к ним в дома самый разнообразный мусор. Тут можно было увидеть и дешевые полированные шкафы, и потешные открытки, и олеографии, но иной раз на глаза попадалась посуда, из которой, возможно, ели еще во времена Лютера. Они, эти люди, были протестантами; однако же, хотя, судя по всему, единственно эта цепкая приверженность к своей вере уберегла их породу от итальянской примеси, хорошими христианами они не были. Поскольку они прозябали в бедности, почти все мужчины вскоре после свадьбы покидали своих жен и на долгие годы уезжали в Америку; оттуда они привозили домой скудные накопления, обычаи городских борделей и безбожие, но отнюдь не острый ум цивилизации.

Сразу по прибытии Гомо услышал здесь историю, надолго занявшую его воображение. История случилась не так давно, в последние десять-пятнадцать лет; один крестьянин, находившийся в отлучке немалый срок, вернулся из Америки и снова улегся к жене в постель. Некоторое время они радовались тому, что опять вместе, и жизнь их шла своим чередом, пока не растаяли последние сбережения. Тщетно прождав новых сбережений, как назло застрявших где-то на пути из Америки, крестьянин заново снарядился в дорогу, чтобы, по примеру других земляков, подзаработать себе на жизнь ремеслом лоточника, а жена осталась вести дальше убыточное хозяйство. Но назад он уже не вернулся. Зато несколькими днями позже на одном из дальних хуторов объявился еще один крестьянин, вернувшийся из Америки, с редкостной точностью высчитал, как давно они не виделись, потребовал на стол ту же еду, что они ели в день расставания, все знал даже про корову, которой давно уже и в помине не было на дворе, и сумел по-отечески поладить с детьми, которых послало ему иное небо, нежели то, что сияло все эти годы над его головою. Однако и этот крестьянин, пожив некоторое время в свое удовольствие, отправился в путь-дорогу с коробом всякого добра и больше не вернулся. История повторилась в округе и в третий, и в четвертый раз, пока кто-то не сообразил, что это был авантюрист, работавший вместе с их мужчинами за океаном и все у них выпросивший. В конце концов его забрали и посадили, и больше он не появлялся. Все женщины об этом жалели, потому что каждой хотелось теперь заполучить его еще денюжка на два и свериться поточнее со своей памятью, чтобы не подвергаться насмешкам зря; каждая, как теперь оказалось, сразу же почуяла тут что-то неладное, но ни одна не была настолько уверена в своих подозрениях, чтобы поднимать из-за этого шум и ущемлять вернувшегося хозяина в его законных правах.

Вот такие это были женщины. Их ноги выглядывали из-под коричневых шерстяных юбок с широкой, в ладонь, красной, голубой или оранжевой каймой, а платки, что они носили на голове и перетягивали крест-накрест на груди, были из дешевого набивного ситца с современным фабричным рисунком, но что-то в расцветке или в расположении узора вдруг отсылало к столетиям предков. И дело тут было не просто в старинном крестьянском уборе, а в самом их взгляде: стародавний, прокочевавший сквозь даль веков, он до сегодняшнего дня дошел уже замутившимся и стертым, но собеседник все еще явственно ощущал его на себе, когда глядел им в глаза. Обуты они были в башмаки, выдолбленные, как челны, из сплошного куска дерева, а поперек подошв, из-за плохих дорог, приделаны были железные пластинки, и на этих котурнах они выступали в своих синих и коричневых чулках, как японки. Приходилось им ждать кого-нибудь - они усаживались не на обочине, а на утопанной земле посередине тропы и высоко подтягивали колени, как негры. Когда же они верхом на ослах поднимались в горы, то сидели не боком, свесив юбку, а по-мужски, зажав голыми ляжками острые края деревянных вьючных седел, опять-таки без всякого смущения задрав колени, и будто плыли вперед, чуть покачиваясь всем корпусом.

Но в то же время их радушие и любезность были столь непринужденны, что иной раз ставили в тупик. "Входите, пожалуйста", - говорили они, выпрямившись, как герцогини, когда в своих крестьянских хоромаш слышали стук в дверь; или, к примеру, остановишься на минутку с ними поболтать, а одна вдруг и предложит с отменной учтивостью и степенностью:

- Не подержать ли вам пальто?

Когда доктор Гомо сказал как-то раз смазливой четырнадцатилетней крестьяночке: "Пошли на сеновал", - сказал просто так, оттого что вдруг представилось ему в эту минуту столь же естественным улечься в сено, как животному - уткнуться носом в кормушку, - детское личико под острым клинышком унаследованного от древних прабабок платка нимало не испугалось, а только весело прыснуло носом и глазами, маленькие башмаки-лодочки, развернувшись на пятках, запрокинулись, и девчонка, казалось, вместе с граблями вот-вот плюхнетя оттопыренным задом на жнивье; но все это лишь должно было, как в комической опере, выразить трогательно-неуклюжее изумление по поводу мужской похотливости. В другой раз он спросил рослую крестьянку, похожую на германскую вдовицу из трагедии:

- Ты еще девушка, да? - и взял ее за подбородок, опять просто так, оттого что вроде бы полагалось отпускать шуточки с таким мужским душком.

А она, даже не попытавшись высвободить подбородок из его руки, серьезно ответила:

- Конечно.

Гомо оторопел.

- Ты еще девушка? - всерьез удивился он и засмеялся. Она хихикнула. Да?! - приступил он к ней уже настойчиво и игриво потрепал ее за подбородок. Тогда она дунула ему в лицо и тоже засмеялась:

- Была!

- Если я приду к тебе, что я получу? - последовал вопрос.

- Что хотите.

- Все, что хочу?

- Все.

- В самом деле все?

- Все! Все!! - И страстность ответа была ею так великолепно и страстно сыграна, что эта театральная подлинность на высоте тысячи шестисот метров над уровнем моря опять поставила его в тупик. С тех пор его неотвязно преследовало ощущение, что здешняя жизнь, ясная и пряная не в пример любой прежней, вовсе не реальность, а легкая, воздушная игра.

Тем временем наступило лето. Когда он в первый раз увидел почерк больного сына на конверте, он будто испугался - дрожь счастья и потаенного владения его пронизала; то, что они знали теперь, где он находится, представилось ему невероятным подкреплением и

утверждением. Он здесь, о, теперь они все знают, и ему ничего не надо им объяснять. В белом и фиолетовом, в палевом и зеленом стояли луга. Он не призрак, нет. Сказочный лес из древних лиственниц в нежно-зеленом покрове высился на изумрудном склоне. Внизу подо мхом, возможно, прятались фиолетовые и белые кристаллы. В одном из уголков леса ручей падал на камень так, что разбившаяся струя напоминала огромный серебряный гребень. Он больше не отвечал на письма жены. Среди тайн этой природы есть и тайна предназначенности. Есть сокровенный нежно-алый цветок, он существует лишь для одного-единственного мужчины на свете - для него, так уж устроил Господь, и разве это не чудо? Есть потаенное место на теле, его никому не дозволено видеть под страхом неминуемой смерти - кроме него одного. Все это показалось ему вдруг таким чудесно бессмысленным и непрактичным, какою бывает только самая истовая религия. И он сейчас лишь осознал, что он сделал, отъединившись от всего на это лето и дав себя увлечь своему собственному течению, его захлестнувшему. Меж деревьев с ядовито-зелеными бородами опустил он на колени, раскинул руки, чего никогда не делал прежде в своей жизни, и на душе у него было так, будто в это мгновение у него из рук взяли его самого. Он ощущал ладонь любимой в своей ладони, ее голос звучал в его ушах, все клетки его тела словно еще трепетали от недавнего прикосновения, он воспринимал себя как некую другим телом образованную форму. Но он уже отринул свою жизнь. Сердце его поверглось во прах перед любимой, стало бедней последнего нищего, и в душе поднялись, готовые излиться, клятвы и слезы. Но все же ему ясно было, что назад он не вернется, и странным образом с этим его возбуждением нерасторжимо связался образ цветущих вокруг леса лугов - и еще, вопреки томительному ожиданию грядущего, предчувствие того, что именно здесь, среди анемонов, незабудок, орхидей, горечавок и великолепного буро-зеленого щавеля, ему суждено лежать мертвым. Он распростерся навзничь во мху. "Как взять тебя с собой?" - спрашивал Гомо. И его тело было полно странной усталости, как застывшее лицо, вдруг расслабляющееся в улыбке. Вот он полагал всегда, что живет реальной жизнью, но могло ли быть что-либо нереальнее того, что один человек был для него чем-то иным, нежели все остальные люди. Что среди бесчисленных тел было одно, от которого его внутреннее "я" зависело почти так же, как от собственного тела? Чужие голод и усталость, зрение и слух неразделимо переплетались с его собственными. С подрастанием ребенка это чувство вращало в череду земных забот и удобств, как тайны почвы вращают в деревце. Ребенка он любил, но как не подлежало сомнению то, что сын переживет их, так же очевидно было, что своим появлением на свет он умертвил ту, иную часть бытия Гомо. И его вдруг бросило в жар от новой мысли. Он отнюдь не был человеком религиозным, но сейчас его всего словно озарило изнутри. В этой беспредельной ясности чувства мысли еле теплились, как чадные свечи, и сияло одно только великолепное, омытое живою водою юности слово: воссоединение. Он на веки вечные возьмет ее с собой, - и в тот миг, когда он обратился к этой мысли, исчезли все мелкие искажения, привнесенные временем в облик любимой, и будто настал вечный первый день. Канули в небытие все будничные расчеты, всякая возможность пресыщения и измены (ибо кто же пожертвует вечностью ради легкомыслия минуты?) - и впервые в жизни он безусловно и неопровержимо познал любовь как таинство небес. Он прозрел свое личное, ему одному благоволящее провидение, направившее его жизнь в эту пустыню одиночества, и уже не как земное только богатство, а как ему одному уготованный волшебный мир ощутил он полную золота и драгоценных камней почву под своими ногами.

С этого дня его не оставляло чувство, что он, как от ломоты в колене или от громоздкого рюкзака, избавился от тяготившей его зависимости - от желания быть живым, от боязни смерти. Случилось не так, как он всегда думал, - что, если человек в расцвете сил чувствует приближение конца, он наслаждается жизнью тем безудержней и ненасытней, - нет, он просто ощутил вдруг полную свою раскованность, божественную легкость, делавшую его султаном собственного существования.

Хотя буровые работы не дали пока обнадеживающих результатов, люди в лагере жили жизнью настоящих золотоискателей. Один деревенский парень повадился украдкой таскать

вино - это было преступление против общих интересов, суровое наказание тут же встретило бы всеобщую поддержку, и парня приволокли со связанными руками. Моцарт Амадео Хоффинготт распорядился для пущей острастки привязать его на сутки к стволу дерева. Когда десятник принес веревку, шутливо-многозначительно помахал ею и повесил сначала на гвоздь, малый задрожал всем телом, решив, что его не иначе как собираются вздернуть. Точно так же - хотя это уже труднее объяснить - дрожали лошади, которых им присылали в качестве вспомогательной тягловой силы или пригоняли на несколько дней с гор для ухода и подкормки: они сбивались в кучу на луговине или ложились на траву, но располагались они, хоть на первый взгляд и беспорядочно, всегда как бы вглубь, к центру, так что создавалось впечатление тайно соблюдаемого эстетического закона, наподобие того, что был в распоряжении крохотных зеленых, голубых и розовых домиков на склоне Сельвота. Когда же их наверху, в одной из горных котловин, привязывали на ночь по две, по три к поваленному дереву, то стоило кому-нибудь, вставши в три часа, еще при луне, отправиться в путь и в полпятого пройти мимо них, они провожали его взглядом, и в бестелесном свете раннего утра человек чувствовал себя мыслью, проплывающей в их медленном сознании. Поскольку воровство и вообще некоторые странности продолжались, участники экспедиции скупили всех собак в округе, чтобы использовать их для охраны. Специально устраивали рейды и притаскивали их прямо сворами, по две, по три на одной веревке, без ошейников. В конце концов в лагере оказалось столько же собак, сколько и людей, и уже неясно было, какая из этих групп чувствует себя здесь хозяином, а какая - всего лишь пригретым из милости нахлебником. Среди собак были и благородные гончие, и венецианские ищейки, которых кое-где еще держали в этих местах, и задиристые дворняги, кусавшиеся, как злобные обезьянки. Они тоже объединялись в группы, неизвестно по какому принципу, и держались весьма сплоченно, но время от времени в каждой группе остервенело набрасывались друг на друга. Некоторые были совсем заморенные, другие отказывались от еды; одна крохотная белая собачонка вцепилась повару в руку, когда тот ставил перед ней миску с мясом и супом, и откусила ему палец.

В полчетвертого утра было уже светло, но солнце еще не вставало. Проходя в горах мимо пастушьих хижин, - их называли здесь мальгами, можно было видеть коров, лежавших в полудреме на ближних лугах. Поджав ноги и слегка свалив крестец на сторону, они лежали огромными матово-белыми, будто каменными, глыбами и не смотрели ни на проходящего, ни вслед ему, а устремляли недвижный взор навстречу ожидаемому свету, и их однообразно-медленно перемалывавшие жвачку губы словно творили молитву. Человек шел сквозь них, как сквозь круг некоего сумеречного, отрешенного существования, а когда, пройдя, оглядывался на них сверху, они казались небрежно разбросанными безмолвными скрипичными ключами - линия хребта, задние ноги и хвост. Вообще жизнь здесь не лишена была разнообразия. То кто-нибудь ломал ногу, и двое сотоварищей проносили его на руках. Или вдруг раздавался крик: "О-го-нь!" - и все бежали искать укрытия, потому что это взрывали большой камень, мешавший прокладке шоссе. Начинаясь дождь только что успел первым влажным касанием пройти по траве. У куста на другом берегу ручья горел костер, забытый за новыми хлопотами, хотя до этого ему придавалось важное значение; теперь в качестве единственного зрителя при нем оставалась молоденькая березка. И на этой березке висела подвешенная за ногу черная свинья; костер, березка и свинья были теперь одни. Свинья эта начала верещать еще тогда, когда один из мужчин просто тащил ее на веревке, всячески увещевая не упираться. Потом она заверещала громче, увидев радостно мчавшихся к ней двух других мужчин. Верещала жалобно, когда ее схватили за уши и уже без всяких церемоний поволокли дальше. Она упиралась всеми четырьмя ногами, но боль в ушах вынуждала ее короткими прыжками продвигаться вперед. На другом конце моста стоял наготове еще один, с мотыгой, и острым лезвием саданул животное по темени. С этого момента все пошло значительно спокойнее. Передние ноги разом подломились, и свинья завизжала снова, только когда нож вошел ей в горло; хотя визг этот взвился истошной, захлебывающейся трубной нотой, он сразу упал до хрипения и тут же перешел в короткий

патетический храп. Все это Гомо отметил для себя впервые в жизни.

С наступлением вечера все собирались в домике приходского пастора, где они сняли одну из комнат, устроив в ней казино. Надо сказать, что мясо, которое им доставляли дважды в неделю, за время пути успевало иной раз подпортиться, и нередко были случаи легкого желудочного отравления. Тем не менее, как только начинало смеркаться, все тащились сюда с фонариками, спотыкаясь на невидимых тропинках. Ибо, хотя кругом и было такое великолепие, они еще больше, чем от желудочного отравления, страдали от опустошенности и печали. И заливали эту пустоту вином. Через какой-нибудь час пасторскую комнату заволакивало дымом тоски и танцевальной мелодии. Граммофон громыхал в ней, как позолоченная телега на мягкой, усыпанной сказочными звездами поляне. Они уже ни о чем не разговаривали - просто говорили. Что они могли сказать друг другу - ученый геолог, предприниматель, бывший инспектор исправительных заведений, горный инженер, отставной майор? Они общались посредством знаков - даже если это и были слова: слова неудовлетворенности, относительной удовлетворенности, тоски - звериный язык. Часто они с ненужной горячностью принимались спорить по какому-нибудь вопросу, никого непосредственно не касавшемуся, доходили даже до взаимных оскорблений, а на следующий день от одного к другому бегали секунданты. Тогда выяснялось, что, собственно говоря, никто ни при чем вообще не присутствовал. Они это делали просто для того, чтобы убить время, и хотя никому из них и не ведомо было, что значит провести время с толком, они сетовали, что их окружают грубияны, мясники, и ожесточались друг против друга.

То был все тот же, что и повсюду, стандарт душевной массы - Европа. Безделье столь же неопределенное, сколь неопределенны были их дела. Тоска по женщинам, по ребенку, по уюту. Все это вперемешку с граммофоном: "Роза, уедем в Лодзь, Лодзь, Лодзь..." - или: "Приходи ко мне в беседку". Астральный запах пудры, газа, туман далеких варьете и европейского секса. Непристойные анекдоты взрывались каскадами хохота и начинались одной и той же фразой: "Едет один еврей в поезде..."; только однажды кто-то спросил:

- А сколько крысиных хвостов уложится от Земли до Луны?

Все даже притихли, а майор поставил арию из "Тоски" и, пока граммофон шипел для разгона, меланхолично сказал:

- Когда-то я чуть было не женился на Джеральдине Фаррар.

Тут из трубы выплеснулся в комнату ее голос и будто на лифте взлетел ввысь, этот разбередивший осоловелых мужчин женский голос, и лифт стрелой взмывал все выше и, не достигнув цели, опускался снова и пружинил в воздухе. Ее юбки раздувало воздушной волной, и тебя будто бросало вверх-вниз, на мгновение ты замирал, безгласно прикинув к протяженному тону, снова взмывал и падал вместе с ним, словно уже изнемогал и все-таки еще трепетал, охваченный новой дрожью, и изливался снова: оргия похоти. Гомо чувствовал, что это была все та же голая похоть, пропитавшая и все сферы городского существования и уже не отличимая от убийства, ревности, сделок, автомобильных гонок, - о, это была уже и не похоть, а дух азарта, нет, и не дух азарта, а, наверное, меч карающий, ангел смерти, безумие небес, война! С одной из многочисленных липучек, подвешенных к потолку, перед ним на стол упала муха и, парализованная ядом, лежала на спине в одной из тех лужиц, которые образует стекающий по еле заметным складкам клеенки свет керосиновых ламп; от этих лужиц веяло такой предвесенней печалью, будто свежий ветер прошумел после дождя. Муха делала судорожные усилия, чтобы перевернуться, но с каждым усилием все больше ослабевала, а другая, шмыгавшая по клеенке, время от времени подбегала к ней справиться, как обстоят дела. Гомо тоже внимательно наблюдал эту картину, потому что мухи были здесь чистым наказанием. Но когда подошла смерть, умирающая сложила заостренной пирамидкой все свои шесть лапок, молитвенно воздела их ввысь и так умерла на тусклом световом пятне клеенки, будто на тихом кладбище, которое, хоть и не исчислимо в сантиметрах и не воспринимается слухом, все-таки было здесь в этот момент. Кто-то как раз заметил:

- Между прочим, уже подсчитано, что во всем банкирском доме Ротшильда не найдется столько денег, чтобы оплатить билет третьего класса до Луны.

Гомо тихо произнес про себя: "Убивать - и все-таки чувствовать Бога; чувствовать Бога - и все-таки убивать?" - и щелчком указательного пальца направил муху прямо в лицо сидевшему напротив майору, что опять привело к инциденту, не затухавшему до следующего вечера.

К этому времени он уже давно был знаком с Гриджией, и, возможно, майор ее тоже знал. Ее звали Лена Мария Ленци; это имя звучало, как Сельвот и Гронляйт или как Мальга Мендана, и приводило на память аметистовые кристаллы и горные цветы, но он предпочитал называть ее "Гридгия", растягивая "и" и придыхая на "дж" - по кличке ее коровы, которую она прозвала Гриджией. От итал. grigia - серая, "Серка".. Она пасла ее, сидя обычно на краю луговины, в фиолетовой с коричневым юбке и платочке в крапинку, задрав кверху закругленные носки деревянных башмаков и скрестив руки на цветастом фартуке; она была при этом так естественно мила - ни дать ни взять изящный ядовитый грибок; время от времени она отдавала распоряжения корове, пасшейся ниже по склону. Собственно говоря, эти распоряжения сводились к пяти словам: "А ну, куда!" и "Я тебя!" - что явно означало:

"Поднимайся наверх!" - когда корова забредала слишком далеко вниз; если же дрессировка не действовала, то следовал еще более негодующий окрик: "Ну, сатана, вот я тебя!" - а уж в качестве последней инстанции она сама, как камушек, скатывалась вниз по лугу, вооруженная первой подвернувшейся под рукой палкой, которую и посылала вслед Гридгии, подбежав на расстояние броска. А так как Гридгия выказывала решительную склонность снова и снова устремляться по направлению к долине, эта процедура повторялась во всех своих частях с равномерностью опускающейся и подтягиваемой заново гири на ходиках. Все это восхищало его своей божественной бессмысленностью, и он, поддразнивая, саму ее стал звать Гриджией. Он не мог не сознаться себе, что его сердце начинало биться сильнее, когда он приближался к сидевшей на лугу фигурке; так бьется оно, когда человек вступает в благоуханный ельник или в марево пряных испарений, поднимающихся от лесной почвы, пропитанной грибными спорами. В глубине этого ощущения всегда присутствовал и затаенный страх перед природой, ибо не стоит обманываться насчет природы, естества - они на самом деле менее всего естественны; природа землиста, жестка, ядовита и бесчеловечна везде, где человек еще не наложил на нее своего ярма. Возможно, именно это и привязало его к крестьянке, а наполовину здесь было также и неослабевающее изумление по поводу того, что она так во всем похожа на женщину. Ведь каждый бы удивился, увидев посреди лесной чащи даму, сидящую с чашкой чая в руках.

Она тоже сказала: "Входите, пожалуйста!" - когда он впервые постучался в дверь ее дома. Стоя у плиты, она помешивала ложкой в кипящем на огне горшке; так как отойти она не могла, она просто вежливо указала на кухонную лавку и лишь несколько позже, улыбнувшись, вытерла руку о фартук и подала ее гостям; у нее была крепкая, ладная рука, бархатисто-жесткая, как тончайшая наждачная бумага или как садовая земля, струящаяся меж пальцев. А лицо, принадлежавшее хозяйке руки, было чуть ироничным, тонкого, изящного рисунка, если глядеть со стороны; особенно же он отметил для себя ее рот. Этот рот был изогнут, как лук Купидона, но, кроме того, еще и плотно сжат, как бывает, когда сглатывают слюну, что, при всей его тонкости, сообщало ему черту жесткой решимости, а этой решимости, в свою очередь, - еле уловимый налет смешливости, великолепно гармонизировавший с башмаками, из которых вся ее фигурка выростала, будто из диких корней. Им надо было уладить с нею какое-то дело, а когда они стали прощаться, на лице ее снова всплыла улыбка, и ему показалось, что ее рука задержалась в его ладони чуть дольше, чем вначале. Эти впечатления, в городе столь мало значащие, были здесь, в глуши, потрясениями, - скажем, как если бы дерево вдруг вздумало закачать ветвями по-иному, нежели это бывает при порыве ветра или при взлете птицы.

Вскоре после этого он стал ее любовником - любовником крестьянки; эта происшедшая

с ним перемена очень его занимала, так как здесь с ним явно что-то произошло не по его воле, а помимо нее. Когда он пришел во второй раз, Гридгия сразу подседа к нему на лавку, и когда он, - чтобы проверить, насколько далеко ему уже позволено зайти, - положил руку ей на колено и сказал: "Ты тут самая красивая", - она руки не отвела, а просто положила на нее свою, и они будто тем самым и сговорились. Тогда он, для закрепления, поцеловал ее, и она после этого слегка причмокнула - так удовлетворенно отрываются губы от сосуда с водой, к краям которого они с жадностью припадали. Он сначала даже несколько испугался такой вульгарности и вовсе не рассердился, когда она пресекла дальнейшие поползновения; он не понимал, почему она это сделала, он вообще ничего не понимал в здешних обычаях и опасениях и даже с некоторым любопытством утешился тем, что его обнадежили на будущее. "На сеновале", - сказала Гридгия, и, когда он уже стоял в дверях и говорил: "До свидания", - она добавила: "До скорого", - и улыбнулась.

Он еще не успел дойти до дома, как уже почувствовал, что счастлив происшедшим, - так горячительный напиток начинает действовать лишь спустя некоторое время. Идее пойти вместе на сеновал он радовался, как детской хитрости: открываешь тяжелую дубовую дверь, притворяешь ее за собой, и с каждым градусом ее поворота в петлях мрак кругом сгущается, пока совсем не спустишься на дно этой вертикально стоящей коричневой тьмы. Он вспомнил их поцелуй, снова услышал ее причмокивание - ему будто стянуло голову колдовским обручем.

Он попытался мысленно вообразить себе предстоящее свидание, и ему опять вспомнилась крестьянская манера есть: они жуют медленно, чавкая, смакуя каждый кусок; и танцуют они так же, шаг за шагом, и, наверное, так же делают все остальное; при этой мысли у него даже ноги онемели от возбуждения - как будто его ботинки понемногу начали вращаться в землю. Женщины опускают веки и делают совершенно окаменелое лицо - защитная маска, чтобы им не мешали неуместными проявлениями любопытства; едва ли единый стон сорвется с их губ - замерев в неподвижности, как жуки, прикинувшиеся мертвыми, они всем своим существом сосредоточиваются на том, что с ними происходит. Так оно и случилось: Гридгия краем подошвы соскребла в кучу немного сена, оставшегося еще с зимы, и, нагибаясь, чтобы поднять подол юбки, в последний раз улыбнулась, будто дама, поправляющая подвязку.

Все вышло так же просто и было столь же колдовским, как лошади, коровы и заколотая свинья. Когда они лежала за балками на сеновале и снаружи раздавался стук тяжелых башмаков, у Гомо, пока этот стук приближался по каменистой тропе, прогромыхивал мимо и затихал вдали, кровь прилиwała к сердцу; а Гридгия, казалось, уже с третьего шага распознавала, к ним ли движутся башмаки или нет. И она знала колдовские слова. Например, говорила "подбрудок", или "виски" вместо "волосы". "Исподница" означало - "рубашка". "Вишь какой тороватый, - удивлялась она, сама придя полусонная. - А я привалилась малость, да и заспала". Когда он однажды пригрозил ей, что больше не придет, она засмеялась: "Уж как-нибудь заманю!" - и он не то испугался, не то обрадовался, а она, видно, это подметила, потому что спросила: "Жалковать стал, да? Здорово жалковать-то стал?" Все эти слова были под стать узорам на их фартуках и платках или цветным каемкам на подолах, - немного уже приладившиеся к современности, благо проделали долгий путь, но все-таки остававшиеся таинственными пришельцами. Они так и сыпались с ее губ, и, целуя эти губы, он тщетно пытался разобраться, любит ли он эту женщину, или просто ему явлено чудо и Гридгия всего лишь частица ниспосланного ему озарения, отныне и навеки связавшего его с той, истинно любимой. Однажды Гридгия сказала ему прямо в лоб: "А мысли-то у тебя про другое, оно по глазам видать", - и, когда он наспех сочинил отговорку, снисходительно отмахнулась: "Ах, это только сюз". Он спросил, что это еще такое, но она объяснять отказалась, и ему пришлось потом долго соображать самому, прежде чем он выудил из нее скудные сведения, позволившие догадаться, что лет двести назад здесь жили еще и французские рудокопы и скорее всего это когда-то означало "эскюз" Извинение, отговорка (от фр. excuse).. Но не исключено, что и тут таилось нечто более замысловатое.

Все это можно чувствовать глубоко или не очень. Можно иметь принципы, и тогда это предстанет всего лишь невинной эстетической забавой, о которой приятно вспомнить. А может быть, у человека нет принципов или просто они несколько ослабли, как случилось с Гомо перед отъездом, и тогда, не ровен час, эти чуждые, странные впечатления всецело завладеют безнадзорной душой. Но какого-либо нового, счастливо-тщеславного и устойчивого ощущения своего "я" они ему не давали, а лишь оседали бессвязно-красивыми пятнами внутри того воздушного очерка, который прежде был его телом. По каким-то неуловимым признакам Гомо чувствовал, что скоро умрет, он только не знал еще, как и когда. Его прежняя жизнь лишилась силы; она стала как мотылек, что к осени слабеет все больше и больше.

Иногда он говорил об этих своих ощущениях с Гриджией, всякий раз удивляясь ее манере справляться о них: деликатно-уважительно, как о чем-то ей доверенном, и без малейшей обиды. Она словно бы находила вполне естественным, что где-то за ее горами жили люди, которых он любил больше, чем ее, Гриджию, - которых он любил всей душой. И он чувствовал, что эта его любовь не слабеет, а, напротив, становится сильнее и будто новей; она не бледнела, не меркла, но чем в более глубокие она окрашивалась тона, тем явственней утрачивала способность направлять его к чему-либо или от чего-либо удерживать. В ней была та граничащая с чудом невесомость и свобода от всего земного, какую знает лишь тот, кому пришлось закончить счеты с жизнью и осталось только уповать на близкую смерть; и хотя он всегда был совершенно здоров, сейчас его будто пронзило и выпрямило что-то, как калеку, который вдруг отбрасывает костыли и идет на своих ногах.

Все это еще усилилось, когда подошла пора сенокоса. Трава была уже скошена и просохла, оставалось увязать ее и поднять наверх со склонов. Гомо смотрел вниз с ближайшего холма, далеко и высоко, будто взмахом качелей, взнесенного над долиной. Молоденькая крестьянка, одна как перст на лугу, яркая пестрая куколка под необозримым стеклянным колоколом неба, - тужится связать огромную охапку. Становится на колени в кучу сена, обеими руками подгребает его к себе. Ложится - весьма чувственным манером - на кучу животом и обхватывает ее снизу. Переворачивается на бок и теперь орудует уже одной рукой, вытягивая ее насколько возможно. Заползает опять наверх сначала одним коленом, потом обоими. Гомо снова чудится в этом что-то от жука, которого прозвали пилильщиком. Наконец она вся подлезает под обхваченную бечевой охапку и медленно поднимается вместе с ней. Охапка намного больше несущего ее пестрого хрупкого человечка - или это была не Гридгия?

Когда Гомо, ища ее, проходил мимо длинного ряда копен, сметанных крестьянками вдоль ровной кромки откоса, женщины как раз устроились передохнуть; он едва смог справиться от ошеломления: они возлежали на невысоких копешках, как статуи Микеланджело во флорентийской капелле Медичи, - рука подпирает голову, и тело будто покоится в плавном потоке. А если им в разговорах с ним случалось сплунуть, они делали это весьма церемонно: выдергивали тремя пальцами пучок сена, плевали в образовавшуюся воронку и засовывали сено обратно; тут не мудрено расхохотаться, но тому, кто среди них уже как бы свой, - а таким и был Гомо, искавший Гриджию, - может иной раз стать не по себе от этой грубоватой чопорности. Впрочем, Гридгия редко бывала среди них, а когда он наконец ее нашел, она сидела на картофельном поле и встретила его задорным смехом. Он знал, что на ней всего лишь две юбки и что она сидит прямо на сухой земле, которую сыпает сейчас меж тонких закрубелых пальцев. Но в этом представлении уже не было ничего для него необычного, все его существо странным образом свыклось с ощущением прикосновения земли к телу, и, возможно, он встретил Гриджию вовсе не на поле и не в пору сенокоса - просто так уж ему тут жилось, что все впечатления и дни перемешались.

Заполнились сеновалы. Меж балок, сквозь щели в пазах, струится серебряный свет. От сена струится зеленый свет. Под дверями лежит широкая золотая кайма.

У сена кисловатый запах. Как у негритянских напитков, приготовляемых из мякоти плодов и человеческой слюны. Стоит только вспомнить, что ты живешь здесь среди дикарей,

- и уже одна эта мысль пьянит дурманом в духоте этого тесного, доверху набитого забродившим сеном пространства.

Нет опоры надежнее сена. Тонешь в нем по щиколотку, но ощущение устойчивости не покидает тебя. Лежишь в нем, как на господней ладони, и готов кататься по господней ладони, как щенок, как поросенок. Лежишь наклонно и лежишь почти отвесно, как святой, в зеленом облаке возносящийся на небо.

То были дни свадебных пиров, дни вознесенья.

Но однажды Гридгия объявила: дальше нельзя. Тщетно он пытался заставить ее сказать, почему. Резкая складка у рта, вертикальная морщинка между глаз, обычно возникавшая, лишь когда она прикидывала, в какой риге лучше всего встретиться завтра, теперь, похоже, означали, что где-то рядом нависла гроза. Может быть, о них пошли пересуды? Но соседи, даже если и замечали что-то, всегда улыбались так, как улыбаются зрелищу, на которое приятно смотреть. Вытянуть же что-нибудь из Гридгии было невозможно. Она придумывала отговорки, реже стала попадаться ему на глаза и уж слова свои стерегла теперь пуще самого недоверчивого крестьянина.

Однажды его встревожил дурной знак. У него спустились гамаша, и он прислонился к забору, чтобы их подтянуть, и тут проходившая мимо женщина дружелюбно сказала:

- Да уж не поднимай чулки-то, все одно ночь на дворе.

Это было неподалеку от дома Гридгии. Когда он ей об этом рассказал, она сделала надменное лицо и бросила:

- В деревне молву, что в ручье волну, - не остановишь, - но при этом сглотнула слюну и мыслями была явно не здесь.

А ему вдруг вспомнилась одна странная крестьянка, с вытянутым, как у женщин из племени ацтеков, черепом, с черными волосами, спускавшимися чуть ниже плеч; она всегда сидела перед дверью своего дома с тремя здоровыми краснощеками ребятишками. Они с Гридгией всякий раз без опаски проходили мимо, это была единственная незнакомая ему женщина, и, странным образом, он ни разу о ней не спросил, хотя ее внешность сразу бросилась ему в глаза; такое было впечатление, что здоровый вид ее детей и странно отсутствующее выражение ее лица взаимно уничтожались. Но сейчас у него вдруг возникла твердая уверенность, что опасность может исходить только отсюда. Он спросил Гридгию, кто эта женщина, но та лишь сердито передернула плечами и процедила сквозь зубы:

- Ах, ее только слушай! Сболтнет слово - и уже ищи-свищи его за горами! - И она резко провела ладонью перед лбом, будто испытывала потребность немедленно и бесповоротно обесценить свидетельство этой особы.

Поскольку никакая сила не могла теперь подвигнуть Гридгию прийти снова в одну из расположенных вокруг селения риг, Гомо однажды предложил ей уйти в горы. Она не хотела, а когда наконец согласилась, то сказала с каким-то особенным выражением, показавшимся ему позже двусмысленным:

- Ладно уж, уходить так уходить.

Было прекрасное утро, еще раз объяввшее все и вся окрест; далеко внизу лежало море облаков и людей. Гридгия опасливо сторонилась жилищ, а когда они вышли на ровное место, она, прежде восхитительно безалаберная во всех диспозициях своей любовной стратегии, вдруг начала выказывать тревогу, будто боялась чьих-то острых глаз. Его терпение иссякло; вспомнив, что они только что прошли мимо старой штольни, от расчистки которой его людям пришлось отказаться, он потащил туда Гридгию. Когда он оглянулся в последний раз, на одном из горных венцов лежал снег, внизу отливала золотом в лучах солнца крохотная делянка с копнами сена, а над тем и другим сияло бледно-голубое небо. Тут Гридгия снова сказала нечто такое, в чем ему почудился тайный смысл; перехватив его взгляд, она заметила ласково:

- А синь небесную уж оставим наверху, пусть себе красуется, - но что она хотела этим сказать, он так и не успел выяснить, потому что они как раз начали осторожно, на ощупь пробираться во все сужавшуюся тьму.

Гриджия шла первой, и, когда через некоторое время штольня расширилась, превратившись в небольшую сводчатую пещеру, они остановились и обнялись. Пол у них под ногами был как будто хороший, сухой, они легли на него, причем Гомо даже не ощутил привычной для цивилизованного человека потребности прежде осветить его зажженной спичкой. И еще раз Гриджия мягкой сухой землею проникла во все его существо, и он чувствовал во тьме, как она каменеет, замирает от наслаждения, а потом они лежали рядом, не испытывая желания говорить, и глядели на далекий маленький прямоугольник, за которым сверкал белизною солнечный день. В представлении Гомо снова всплыл их путь сюда, он видел, как они встречаются с Гриджией за дереушкой, поднимаются в гору, поворачивают, поднимаются снова, видел ее голубые чулки до самой оранжевой каемки под коленями, видел, как она упруго вышагивает в смешных своих башмаках, как он с нею останавливается перед штольней, видел ландшафт с крохотной золотой делянкой, и тут в проеме входа он различил силуэт ее мужа.

Он никогда раньше не думал об этом человеке, которого использовали на подсобных работах; сейчас он увидел его скуластое лицо браконьера с темными, по-охотничьи цепкими глазками, и ему вдруг припомнился тот единственный раз, когда он слышал его речь; это было, когда тот выбрался из полуразрушенной штольни, куда заползал для ее осмотра, на что никто другой не отважился, и это были слова: "Ну вот и повидал одну красоту заместо другой; только вертаться трудновато". Рука Гомо рванулась к пистолету, но в тот же миг муж Лены Марии Ленци исчез, и мрак вокруг воздвигся плотной стеной. Гомо на ощупь добрался до выхода, Гриджия цеплялась за его одежду. Но ему сразу стало ясно, что обломок скалы, приваленный к отверстию, слишком тяжел и у него не хватит силы сдвинуть его; и он вдруг понял, почему этот человек дал им столько времени: оно было нужно ему, чтобы продумать свой план и подтащить бревно, послужившее рычагом.

Гриджия рухнула перед камнем на колени, скулила и бесновалась; это было отвратительно и бессмысленно. Она клялась, что ничего ззорного не сделала и в жизни больше не сделает, она вопила, как резаная свинья, и бестолково колотилась о камень, как обезумевшая кобылица. Гомо чувствовал в конце концов, что все так и должно быть, все в порядке вещей, - просто ему, образованному человеку, трудно было сразу примириться с очевидностью того, что действительно произошло нечто бесповоротное. Он сидел, прислонясь к стене, и, засунув руки в карманы, слушал вопли Гриджии. А потом он прозрел свою судьбу; еще раз, будто в озарении, представилось ему, как она опускалась, нависала над ним, - дни, недели, месяцы, - именно так, должно быть, начинается сон, которому суждено длиться долго. Он ласково обнял Гриджию и, оторвав от камня, притянул к себе. Потом лег возле нее и стал ждать. Раньше он, может, и подумал бы, что в такой наглухо захлопнувшейся тюрьме любовь должна быть остра и пронзительна, как укус, но сейчас он и думать забыл о Гриджии. Она отдалилась от него - или он от нее, хоть он еще чувствовал ее плечо; вся его жизнь отдалилась от него ровно настолько, чтобы знать еще, что она рядом, но уже никогда не дотронуться до нее рукою. Долгие часы, а может, долгие дни и ночи лежали они недвижно, голод и жажда остались позади них, как беспокойный отрезок пути, и они становились все слабее, все легче и бессловесней; позади были необъятные моря забвения и случайные островки пробуждения. Однажды он вострепнулся, озаренный резким лучом такого вот мимолетного пробуждения; Гриджия исчезла; безошибочная уверенность подсказала ему, что эту случилось только что, мгновение назад. Он усмехнулся: ему про выход ничего не сказала, оставила его здесь, мужу в доказательство!.. Он с трудом приподнялся и огляделся вокруг; и тоже заметил теперь слабый узкий просвет вдали. Он попробовал поползти туда, в глубь штольни - они все время смотрели в другом направлении. И он различил узкую щель, которая, вероятно, вела в сторону и наружу. Гриджия была тоненькой и гибкой, но, возможно, и ему, если напрячь последние силы, следовало бы попробовать там протиснуться. Это был выход. Но он в этот момент был уже, вероятно, слишком слаб, чтобы возвращаться к жизни, уже не хотел, - или потерял сознание. В тот же самый час внизу Моцарт Амадео Хоффинготт, поскольку стала очевидной безуспешность

всех усилий и тщетность затеянного предприятия, отдавал распоряжения свертывать работы.

ПОРТУГАЛКА

В одних грамотах они значились как делле Катене, а других - как господа фон Кеттен; они пришли сюда с севера и остановились на самом пороге юга; свою родословную они возводили то к германцам, то к латинянам, смотря по выгоде момента, и никакой другой родины не знали, кроме собственного гнезда.

В стороне от широкого торгового пути, ведущего через Бреннер в Италию, между Бриксеном и Триентом, на почти отдельно стоявшей отвесной скале высился их замок; в полутораэта метрах под ним так неистово бесновался узкий горный поток, что, высунув голову из окна, вы не расслышали бы церковного колокола, зазвони он в самой крепости. Ни единого мирского звука не проникало снаружи в замок рыцарей Катене сквозь эту плотную завесу бешеного рева; но напрягшийся для отпора взгляд неожиданно легко преодолевал эту преграду и окунался, ошеломленный, в беспредельную раскинувшуюся ширь.

За скорых и хватких слыли все бароны фон Кеттен, и ни малейшая выгода, где бы она ни обозначалась, не ускользала от них. И безжалостны они были, как ножи, что режут сразу до кости. Они никогда не краснели от гнева и не розовели от радости - в гнев они темнели, а в радости вспыхивали, как золото, таким же прекрасным и редкостным светом. И еще, уверяла молва, все они, кем бы ни случилось им быть в смене лет и столетий, походили друг на друга тем, что рано наживали белые нити в каштановых бородах и кудрях и умирали, подойдя к шестидесяти; и тем еще, что нечеловеческая сила, которую время от времени обнаруживал каждый из них, сосредоточена была как будто не в хрупком и жилистом теле, а в глазах и во лбу, - но то были рассказы запуганных соседей и холопов. Они прибирали к рукам все, что могли, беря то честью, то насилием, то хитростью - как придется, но всегда спокойно и неотвратно; их короткая жизнь протекала неспешно и кончалась быстро, без затяжного угасания, как только исполнен бывал их удел.

И еще было в обычае у племени Кеттенов не родниться с рыцарством, осевшим поблизости от них; жен себе они привозили издалека, и жен богатых, чтобы не смущаться ничем в выборе союзников и врагов. Когда барон фон Кеттен двенадцать лет тому назад женился на прекрасной португалке, ему шел тридцатый год. Свадьбу сыграли на чужбине, и совсем еще юная супруга была как раз на сносях, когда в перезвоне колокольных длинный обоз челядинцев и холопов, лошадей, прислужниц, мулов и собак пересекал границы владений Катене; как в сплошном свадебном вихре, промелькнул этот год. Ибо Кеттены все были блестящие кавалеры; только выказывали они это лишь раз в жизни, в тот год, когда добивались руки; они искали красивых жен, потому что хотели красивых сыновей, и иначе им было не заполучить таких красивых жен в чужих краях, где они не столь много значили, как дома; но они сами не знали, выказывали ли они себя в этот год такими, каковы были на самом деле, или во все остальные годы. Навстречу путешественникам прискакал гонец с важным известием; и процессия с ее разноцветными одеждами и плюмажами все еще походила на разноцветного мотылька, но барон фон Кеттен переменялся. Снова нагнав жену, он медленно ехал на своей лошади рядом с нею, будто отстраняя от себя всякую мысль о спешке, но лицо его стало отчужденным, как грозная стена облаков. Когда за поворотом перед ними вдруг возник замок, до которого оставалось каких-нибудь четверть часа пути, он с видимым усилием нарушил молчание.

Надо, сказал он, чтобы жена повернула и отправилась обратно. Процессия остановилась. Португалка просила и настаивала, чтобы ехали дальше; повернуть назад успеется и после того, как будут объяснены причины.

Епископы Триентские были могущественными князьями, и по их указке имперский суд вершил все дела; с незапамятных времен Кеттены вели с ними земельные тяжбы; иной раз эти споры выносились на суд, а иной Раз притязания и отказы выливались в кровавые

распри, но уступать более сильному противнику всякий раз приходилось баронам фон Кеттен. Взгляд, от которого обычно не ускользала ни одна выгода, здесь обречен был тщетно вперяться вдаль, дабы ее высмотреть; но каждый отец завещал этот долг сыну, и гордость их непреклонно ждала из поколения в поколение, когда придет ее час.

Именно этому барону фон Кеттену улыбнулась судьба. Он с ужасом подумал, что чуть было не пропустил своего часа. Могущественная княжеская партия поднялась на епископа, решено было напасть на него и взять в плен, и Кеттену, когда пронесся слух о его возвращении, уготована была роль главаря. Пробыв столь долго в отсутствии, Кеттен плохо представлял себе, какими силами располагает епископ; но он понимал, что предстоит жестокое, затяжное испытание с неясным исходом и что не на каждого можно будет положиться до последнего, если не удастся перехитрить Триент с самого начала. Он сердился на красавицу жену, что чуть было не пропустил из-за нее такой удачный случай. Как всегда, он любовался ею, когда ехал сейчас на своем коне чуть позади нее; и она все еще была для него такой же загадочной, как ее жемчужные ожерелья, которых у нее было так много эти хрупкие безделки, вдруг подумалось ему, можно расплющить, как горошины, когда взвешиваешь их на ладони жилистой, узловатой руки, - но они лежат на ней непостижимо спокойно и надежно. Только вся эта волшба потускнела сейчас перед новым известием, как тускнеют грезы спеленатых зимних вечеров перед мальчишеской наготой первых ярких солнечных дней. Жизнь в седле ждала его - долгие годы, в которых смутным пятном таяли жена и семья.

Но лошади тем временем достигли подножия стены, на которой стояла крепость, и португалка, выслушав все, снова повторила, что хочет остаться. Грозно высился замок над их головами. Там и сям, как редкие волоски, виднелись на груди скалы чахлые деревца. Валы покрытых лесами гор вздымались и низвергались так беспорядочно, что невозможно было бы описать все это уродство человеку, знакомому только с пляской морских волн. Стылой пряностью отдавал воздух, и вообще человек здесь будто въезжал на коне в растрескавшийся котел, чьи черепки хранили следы странной зеленой краски. Но в лесах водились и олень, и медведь, и кабан, и волк и, может быть, даже единорог. Выше них царили козерог и орел. Бездонные ущелья давали приют драконам. Вширь и вглубь лес простирался на долгие недели пути, иссеченный лишь звериными тропами, а наверху, где из него громоздились скалистые пики, начиналось царство духов. То было пристанище демонов с тучами и ураганом; ни одна христианская душа не забиралась туда, а если и находились чересчур дотошные, все кончалось историями, о которых шепотом рассказывали служанки на зимних посиделках, в то время как парни польщенно молчали и пожимали плечами, давая понять, что риск для мужчины - привычное дело и такие приключения смельчакам не впервой. Но изо всего, что она наслушалась, самым странным было для португалки вот что: как никому еще не доводилось достигнуть подножья радуги, так никому еще не удалось заглянуть за стену исполинских гор; за каждой стеною вставала новая стена; долины меж ними были как натянутые шали, полные камней величиною чуть ли не с дом, и даже каменная крошка под ногами состояла из обломков с голову каждый, - мир, который, собственно, и не назовешь миром. Эту землю, родину человека, которого она любила, она часто представляла в своих мечтах по его подобию, а его самого старалась понять, исходя из того, что он рассказывал ей о своей родине. Наскучив павлиньей лазурью моря, она ожидала увидеть страну, полную неожиданностей, как тетива натянутого лука; но, оказавшись с тайной лицом к лицу, она нашла ее уродливой сверх всякого ожидания и затосковала. Крепость будто была составлена из кустарников. Камни, взгроможденные на скалы. Головокружительные стены, покрытые плесенью. Трухлявое дерево или грубые осклизлые бревна. Деревенская утварь, воинские доспехи, амбарные цепи и старые дроги. Но уж коли она попала сюда, здесь и было ее место, и, может быть, то, что она видела, было вовсе не уродством, а особой красотой, как мужские повадки, к которым надо сначала привыкнуть.

Когда барон фон Кеттен увидел, что жена уже начала подниматься на своей лошади в гору, он не захотел останавливать ее. Спасибо он ей за это не сказал, но ощутил что-то такое,

что, не ломая его воли, но и не уступая ей, уклончиво влекло его неведомо куда, так что он, как бедная заброшенная душа, в потерянном молчании следовал за нею.

Через два дня он снова сидел в седле.

И через одиннадцать лет он все еще в нем сидел.

Налет на Триент, легкомысленно подготовленный, окончился неудачей, с самого начала обойдясь рыцарской партией в треть ее войска и более чем в половину ее отваги. Барон фон Кеттен, раненный на обратном пути, не сразу вернулся домой; два дня он отлежал в хижине крестьянина, скрываясь от преследователей, а потом поскакал по замкам, распалая новое возмущение. Опоздав в свое время к предварительным совещаниям и подготовке бунта, он после поражения не отпуская от себя мысль об отплате, как не отпускает быка повиснувший на его загривке пес. Он расписывал баронам, что их ожидает, если епископская партия соберет силы для ответного удара, прежде чем они снова сплотят свои ряды; подстегивал нерасторопных и скаредных, выжимал из них деньги, стягивал подкрепления, хлопотал об оружии и был избран военным предводителем баронов. Раны его вначале так еще кровоточили, что он принужден был дважды в день менять повязки; и, скача без усталости, ведя переговоры и накидывая на себя лишний день отлучки за каждую неделю, упущенную им в свое время, он не знал, думал ли он при этом о пленительной португалке, которая, верно, тревожилась о нем.

Он вернулся к ней лишь на пятые сутки после того, как до нее дошло известие о его ранении, и пробыл всего один день. Она посмотрела на него, ни о чем не спрашивая, испытующе, как следят за полетом стрелы - попадет ли в цель.

Он созвал своих челядинцев до самого последнего малолетнего пажа, объявил в крепости осадное положение, распорядился и повелевал. В гомоне слуг, ржании лошадей, таскании балок, звоне железа и треске камня прошел этот день. Ночью он поскакал дальше. Он был с ней ласков и нежен, как с редкостным благородным существом, внушающим восхищение, но взгляд его был прям, будто исходил из-под шлема, хотя шлема и не было. Когда подошла пора прощаться, португалка, вдруг поддавшись чисто женскому порыву, попросила дозволения хотя бы промыть его рану и наложить свежую повязку, но он не позволил; поспешней, чем была в том нужда, он простился с нею, засмеялся на прощанье, и тогда она засмеялась тоже.

В разгоревшейся распре противник старался, где только возможно, брать силой, как это и соответствовало жестокой, светски-воинственной натуре человека, носившего епископское облачение; но он мог быть - как его, вероятно, приучило это женственное облачение - и податливым, и коварным, и цепким. Богатство и обширные владения, предоставляя возможность частичных, со скрипом, в самую последнюю минуту приносимых жертв, постепенно делали свое дело там, где сана и влияния не хватало, чтобы обеспечить себе твердую опору. Решений эта тактика избегала. Свертывалась в клубок, как только сопротивление ожесточалось; обрушивала удар, где только угадывала слабость. Так и случилось, что иной раз штурмовали крепость и, если к осажденным вовремя не подоспела подмога, брали ее нещадно и кроваво, вырезая всех и вся; а другой раз солдатня неделями бездельничала, и в округе ничего не происходило, разве что угоняли у крестьянина корову или сворачивали голову курице. Недели складывались в весны и зимы, времена года складывались в годы. Две силы боролись друг с другом: одна буйная и задиристая, но слишком слабая, другая - как медлительное, рыхлое, но чудовищно тяжелое тело, которому еще и время прибавляло добавочный вес.

Барон фон Кеттен все это знал. Ему стоило усилий удерживать раздраженное и обескровленное рыцарство в узде и не позволять ему в необдуманной внезапной атаке растратить последние силы. Он выжидал промаха, того невероятного поворота, который мог принести с собой только случай. Ведь ждал же его отец, ждал дед. А когда долго ждешь, может случиться и то, что случается редко. Он ждал одиннадцать лет. Одиннадцать лет скакал от крепости к крепости, от отряда к отряду, чтобы не дать угаснуть духу мятежа, сотнями мелких стычек снова и снова поддерживая свою славу отчаянного храбреца, желая

отвести от себя упреки в робости и медлительности, доводил иной раз и до крупных, кровавых столкновений, чтобы разжечь гнев в своих соратниках, но от решительной схватки уклонялся не хуже епископа. Не раз он бывал легко ранен, но никогда не оставался дома больше суток. Шрамы и походная жизнь покрыли его твердой коростой. Может быть, он боялся дольше задерживаться дома - как опасается присесть человек, когда сильно устал. Непокойные взнузданные лошади, мужской хохот, пламя факелов, огненный ствол лагерного костра, подобный столпу из золотой пыли в нежно-зеленом мерцанье лесных деревьев, запах дождя, ругань, бахвалящиеся рыцари, обнюхивающие раненых псы, задранные бабы юбки и запуганные крестьяне - вот были его развлечения в эти годы. Среди всего этого он сохранил изящество и лоск. В его каштановые волосы начала закрадываться седина, но лицо не старело. Он поддерживал грубые мужские шутки и делал это, как мужчина, но взгляд его оставался при этом недвижим и прям. Он умел осадить зарвавшегося резко, как конюший; но он не кричал, в словах был тих и краток, солдаты боялись его, и гнев, казалось, никогда не охватывал его, а исходил изнутри, и лицо его тогда темнело. В сражении он мог забываться; тут уж все изливалось из него в буйных, наотмашь разящих жестах, он пьянел от скачки, от крови, не знал, что делал, и делал всегда то, что надо. За это солдаты боготворили его; начала складываться легенда, будто из ненависти к епископу он продал душу дьяволу и тайно навещал своего патрона, жившего в обличье красивой чужестранки в его замке.

Когда барон фон Кеттен услышал об этом в первый раз, он не рассердился и не рассмеялся, но от радости весь вспыхнул темным золотом. Часто, сидя у лагерного костра или крестьянского очага, когда клонящийся к закату день, подобно тому как постепенно размягчается задубевшая от дождя кожаная сбруя, истаявал в теплом мареве, он погружался в раздумья. Он думал тогда о том, что епископ Триентский спит на чистых простынях, в окружении ученых клириков и услужливых художников, в то время как он рыскает вокруг, как волк. Он тоже мог все это иметь. Он ведь нанял в замок капеллана, заботясь о пище для духа, писца, чтоб читал вслух, потешную камеристку; издалека был выписан повар, дабы изгнать из кухни призрак ностальгии, странствующие ученые доктора и семинаристы залучались в замок, чтобы в беседах с ними разнообразить дни, драгоценные ковры и ткани прибывали отовсюду для обивки стен; только его самого при всем этом не было. В течение одного-единственного года, на чужбине и во время обратного пути, он вел сумасбродные речи, искрившиеся блеском и лестью, - ибо как всякая искусно сотворенная вещь есть вместилище духа, будь то сталь или крепкое вино, лошадь или струя фонтана, так причастны были духу и рыцари из рода Катене; но родина его была тогда далеко, его подлинное существо было чем-то таким, к чему надо было скакать недели напролет, без надежды приблизиться к цели. Он и сейчас говорил порой необдуманные слова, но лишь в тот краткий срок, пока отдыхали лошади в конюшне; он приезжал ночью и уезжал наутро или оставался от утреннего благовеста до "Ave" Имеется в виду звон к вечерней католической молитве "Ave Maria".. К нему привыкли, как привыкает человек к вещи, которую он долго носит. Если ты смеешься, она будто смеется тоже, если идешь куда-то - идет вместе с тобой, если ощупываешь себя рукою - ощущаешь ее; но подними ее перед собой и посмотри на нее - вещь умолкает и отводит взгляд. Если б он хоть раз задержался подольше - воистину, тогда бы он уж волей-неволей раскрылся, показал себя таким, каков он на самом деле. Но сколько он себя помнил, он никогда не говорил: вот я таков, или: хочу быть таким, - а рассказывал ей об охотах, приключениях и делах, в которых принимал участие; и она тоже никогда не спрашивала его, - как это свойственно молодым людям, - что он думает о том-то и том-то, и не говорила, какой бы она хотела быть, когда состарится, а раскрывалась навстречу ему молча, как роза, сколь бы ни бывала перед тем оживлена, и уже тогда, на церковных ступенях, стояла, будто готовая в путь, будто поднялась на камень, чтобы с него взмахнуть в седло и устремиться к той, иной жизни. Он едва знал обоих детей, которых она ему родила, но и оба эти сына уже пылко любили далекого отца, чья слава эхом гремела в их маленьких ушах, с тех пор как они научились слышать. Странно запомнился ему вечер, давший жизнь второму. Когда он вошел, он увидел мягкое светло-серое платье с темно-серыми цветами,

черная коса была заплетена на ночь, безупречно вылепленный нос четко вырисовывался над гладкой желтизной освещенной книги с таинственными изображениями. Это было как колдовство. В своем богатом одеянии, струившемся книзу неисчислимыми ручейками складок, она сидела спокойно, лишь из себя самой воздымаясь и в себя самое ниспадая, как струя фонтана; а может ли быть расколдована струя фонтана иначе как волшебством или чудом и может ли она насовсем выйти из круга своего самодостаточного, зыбкого бытия? Поддайся соблазну, обними эту женщину - и, как от удара, отпрянешь от невидимой магической преграды; такого не случилось; но разве нежная ласка не еще более непостижима? Она взглянула на него, тихо вошедшего, как смотрят на знакомый, но забытый халат, - его долго-долго носили и долго потом не вспоминали, он стал немного чужим, но в него так уютно запахнуться.

Зато насколько привычней были ему военные хитрости, политические козни, ярость, убийства! Деяние свершается потому, что прежде свершилось другое деяние: епископ рассчитывает на свое золото, военный предводитель - на мощь рыцарства; приказывать легче легкого; ясна как день и надежна как вещь эта жизнь, вонзить копье в покосившийся шлем так же просто, как ткнуть пальцем и сказать: вот это. А все остальное чуждо, как луна. Барон фон Кеттен втайне любил это все остальное. Порядок, хозяйство, умножающиеся богатства не тешили его. И хотя он годами дрался из-за чужого добра, не прибыльного мира он жаждал - желания его рвались из глубины души за ее пределы; во лбах таилась сила рыцарей Катене, но лишь безгласные деяния порождала она. Когда поутру он взмахивал в седло, он еще ощущал каждый раз счастье непреклонности, душу своей души; но когда ввечеру он спешился, докучливая отупелость всех дневных излишеств иной раз давила на него, будто он целый день напрягал последние силы лишь затем, чтобы небезвозмездно причаститься некой красоты, которой он не знал даже имени. Епископ, эта лиса, мог молиться своему богу, когда Кеттен припирал его; Кеттен только и мог, что мчаться галопом по цветущим посевам, ощущать под собой своенравную стремнину конского крупа, приязнь вымогать стальным бичом. Но его и радовало, что была в его жизни эта стихия - возможность жить и отнимать жизнь, не думая об ином. Она отстранялась и гнала прочь все, что прокрадывалось к костру, когда он неотрывно глядел в огонь, и исчезало, как только он, скованный грезой, выпрямлялся и переводил взгляд. Не раз барон фон Кеттен измышлял сложные, запутанные ходы, думая о епископе, которого он изведет, и ему казалось порой, что лишь чудо способно все это связать и устроить.

Его жена брала с собой старого кастеляна и бродила с ним по лесам, когда не сидела над своими книжками с рисунками: лес раскрывается вам навстречу, но душа его ускользает; она продиралась сквозь бурелом, карабкалась по камням, натыкалась на следы зверей и на них самих, но домой возвращалась всего лишь с этими ничтожными испугами, преодоленными трудностями и удовлетворенными причудами, терявшими всякую загадочность, как только их выносили из леса, - и еще с тем пресловутым зеленым миражем, о котором она знала еще по рассказам, задолго до прибытия в эту страну; стоит прекратить стремиться к нему - и он снова смыкается у вас за спиной. Зато порядок в замке она поддерживала без особого усердия. Ее сыновья, из которых ни один не видел моря, - да ее ли это были дети... волчата, думалось ей иногда. Однажды ей принесли из лесу волчонка. Она и его вскормила. Между ним и взрослыми псами установилось неуютное согласие, взаимное терпение без какого бы то ни было обмена знаками. Когда он пересекал двор, они вставали и смотрели на него, но не лаяли и не рычали. А он глядел прямо перед собой, даже когда косился на них, и, стремясь не подать вида, едва ли замедлял и напрягал шаг. Он неотступно следовал за хозяйкой, без малейшего знака любви и доверия; часто глядел на нее своими твердыми глазами, но они ничего не говорили. Она любила этого волка, потому что его жилистость, его бурая шерсть, властность глаз и хладнокровное дикарство напоминали ей барона фон Кеттена.

И однажды наступил момент, которого ждуг; епископ захворал и умер, капитул остался без головы. Кеттен продал всю движимость, заложил все уголья и снарядил на эти средства

небольшой собственный отряд; тогда он выдвинул условия. Будучи поставлен перед выбором - продолжать старую тяжбу против свежеевооруженной силы до прихода и приказов нового хозяина или удовольствоваться посильным мирным решением - капитул склонился к последнему, и тут уж, само собой, Кеттен, один только и оставшийся еще сильным и грозным, урвал себе львиную долю, а соборный капитул вознаградил себя за счет более слабых и несмелых.

Так пришло к концу то, что на памяти целых четырех колен было как комнатная стена, которую каждое утро за завтраком видишь и не видишь: она вдруг исчезла; до сих пор все было, как и в жизни других Кеттенов, - в жизни же этого Кеттена теперь только и оставалось, что округлять и завершать: цель для подрядчика, но не для властелина.

И тут, на обратном пути домой, его ужалила муха.

Рука мгновенно распухла, и он вдруг страшно устал. Он завернул в харчевню в первой попавшейся убогой деревушке, и, пока он сидел за необрунным деревянным столом, его одолела сонливость. Он положил голову на грязный стол, а когда проснулся вечером, его била лихорадка. Он бы все равно поехал дальше, если бы спешил, но он не спешил. Когда он утром собрался сесть в седло, он зашатался от слабости и упал. Рука распухла до плеча; сначала он втиснул было ее в латы, но пришлось их снова снять; пока их с него снимали, его начал трясти озноб, какого он еще никогда не испытывал; все его мускулы дергались и плясали так, что он не мог поднести руку к руке, а полурасстегнутые железные доспехи лязгали, как сорванный бурей сточный желоб. Он понимал, как потешно это выглядит, и сумрачно усмехнулся над своим лязганьем, но в ногах была слабость, как у ребенка. Он послал одного гонца к жене, другого к цирюльнику и к знаменитому врачу.

Цирюльник, явившийся первым, прописал горячие припарки с целебными травами и попросил дозволения взрезать нарыв. Кеттен, теперь вдруг загоревшийся нетерпением добраться до дома, позволил - и не успел оглянуться, как приобрел чуть ли не столько же новых увечий, сколько имел старых. Странны были эти боли, против которых он не мог оборониться. Два дня отлежал барон фон Кеттен, обложенный, как присосками, травяными припарками, а потом его закутали с головы до ног и отправили домой; три дня длился переезд, но, судя по всему, сильное лечение, которое с таким же успехом могло бы, истощив все защитные силы жизни, привести к смерти, приостановило болезнь: когда они прибыли к цели, яд все еще исходил буйным жаром, но гной дальше не распространился.

Эта лихорадка, как широкая, охваченная пламенем луговина, длилась недели. Больной с каждым днем все больше истаивал в ее огне, но там же, казалось, поглощались и испарялись и все дурные соки. Более определенного не мог ничего сказать даже знаменитый врач, и лишь португалка время от времени чертила таинственные знаки на кровати и на двери. Когда от барона фон Кеттена уже только и осталось, что оболочка, полная мягкого жаркого пепла, лихорадка в один прекрасный день вдруг резко спала и теперь лишь тихо и умиротворенно тлела в этой оболочке.

Если странными были уже боли, против которых нельзя оборониться, то все дальнейшее больной вообще пережил не как человек, до которого это прямо касается. Он много спал, но и с открытыми глазами был тоже не здесь; когда же сознание возвращалось к нему, то это безвольное, младенчески-теплое обессиленное тело он не ощущал как свое, и эту слабую, лишь одним дуновением поддерживаемую душу как свою тоже не ощущал. Он, конечно, уже пребывал в отрешении и все это время просто ждал где то, не придется ли еще раз вернуться назад. Никогда бы он не подумал, что умирать так легко и просто; какая-то часть его существа уже упредила в смерти все остальные, он растаял, рассеялся, как разбредается содружество путников: в то время как бранный остов его еще лежал на кровати, и кровать была здесь, и жена наклонялась над ним, и он из любопытства и отвлечения ради следил за переменами в ее внимательном лице, все, что он любил, уже было далеко впереди. Барон фон Кеттен и его чаровница, ворожея лунных ночей, оставили его и неслышно от него удалялись; он еще видел их, знал, что в несколько больших прыжков потом их нагонит, - только вот сейчас он не знал, был ли он уже с ними или еще оставался здесь. Но все это

покойлось на огромной милосердной ладони, она была уютной и мягкой, как колыбель, и если даже она и взвешивала все, то нимало не скаречничала над итогом. Наверное, это и был Господь. Он в том не сомневался, но и волнения тоже никакого не испытывал; он просто ждал и не отвечал ни на улыбку, наклонявшуюся над ним, ни на ласковые слова.

Потом наступил день, когда он вдруг понял, что день этот будет последним, если он не соберет всю свою волю, чтобы остаться в живых, и как раз вечером этого дня у него спала лихорадка.

Ощувив эту первую ступеньку к выздоровлению, он велел теперь каждый день выносить его на крохотную зеленую лужайку, которая покрывала неогороженный уступ скалы, нависавший прямо над бездной. Там он лежал на солнце, закутанный в шали; спал, бодрствовал, сам не зная, спит он или бодрствует.

Однажды, проснувшись, он увидел перед собой волка. Он смотрел в узкие острые глаза зверя и не мог пошевелиться. Неизвестно, сколько прошло времени, потом перед ним появилась и жена, держа волка у коленей. Он опять закрыл глаза, будто вовсе и не просыпался. Но когда его снова перенесли в постель, он потребовал свой лук. Он был так слаб, что не мог его натянуть; это его удивило. Он позвал слугу, дал ему лук и приказал: волка! Слуга заколебался, но он вспыхнул гневом, как ребенок, и к вечеру шкура волка уже висела во дворе замка. Когда португалка увидела ее и лишь от слуг узнала о том, что произошло, у нее кровь застыла в жилах. Она подошла к его кровати. Он лежал белый, как стена, и в первый раз заглянул ей прямо в глаза. Она засмеялась и сказала:

- Я сделаю себе из его шкуры чепец и ночью буду пить твою кровь.

Потом он распорядился отослать священника, который однажды сказал: "Епископ может воззвать к Господу, вы этого не боитесь?" - а позже все давал ему каждый раз последнее причастие; но сразу избавиться от него не удалось заступилась португалка и упростила потерпеть капеллана до тех пор, пока он не подыщет другого места. Барон фон Кеттен согласился. Он был еще очень слаб и по-прежнему много спал на солнечной лужайке. Проснувшись на ней в очередной раз, он увидал друга юности. Тот стоял рядом с португалкой, посланец ее родины; здесь, на севере, он выглядел очень с нею схожим. Он поклонился Кеттену с благородной учтивостью и говорил слова, которые, судя по выражению его лица, должны были быть отменно любезными, в то время как Кеттен лежал, как пес в траве, и мучился бессильным стыдом.

Впрочем, это могло быть уже впечатление от второго раза; иногда он все еще пребывал в забытьи. Ведь заметил же он лишь некоторое время спустя, что его шапка стала ему велика. Мягкая меховая шапка, всегда несколько даже сдавливавшая голову, вдруг от легкого нажима опустилась на уши и там только и задержалась. Они были в этот момент втроем, и жена сказала:

- Господи, у тебя же голова стала меньше!

Его первой мыслью было, что он, наверное, слишком коротко постригся, он только не помнил, когда; украдкой он провел по волосам, но они были длиннее, чем нужно, он запустил их за время болезни. "Значит, шапка разносилась", подумал он; но она была почти еще новая, и как вообще она могла разноситься, пролежав все это время неношеной в шкафу. Тогда он попытался обратить все в шутку и сказал, что за долгие годы, проведенные в обществе одних только вояк, а не образованных кавалеров, у него, верно, уменьшился череп. Он сам почувствовал, какой неуклюжей получилась шутка, да и вопроса она не решила, потому что может ли вообще уменьшиться череп? Может убавиться сила в венах, может несколько истаять жир под кожей головы - но так ли уж это много? Он теперь часто делал вид, что приглаживает волосы, прикидывался также, будто вытирает пот со лба, или старался незаметно податься назад, в тень, и быстро измерял двумя пальцами, как циркулем, свой череп, снова и снова, в разных направлениях; но сомнений быть не могло - голова уменьшилась; а когда он изнутри, мыслями своими касался ее, она представлялась ему и еще меньшей, была как две тонкие, друг к другу прилаженные скорлупки.

Многое, конечно, не поддается объяснению, но не всякий обречен нести эту ношу на

плечах и ощущать ее каждый раз, когда он поворачивает голову в сторону двух людей, разговаривающих друг с другом, пока он притворяется спящим. Он давно уже позабыл этот чужой язык, помнил разве что несколько слов; но однажды он понял фразу: "Ты не делаешь того, что хочешь, и делаешь то, чего не хочешь". В тоне ему послышалась скорее настойчивость, чем шутливость; что это могло означать? В другой раз он далеко высунулся из окна, окунувшись в рокот реки; он часто теперь так делал, это было вроде игры: шум потока, сумбурный, как переворошенное сено, замыкал ему слух, а когда он возвращался из этой глухоты, в ней слабым далеким отзвуком всплывал разговор жены с тем, другим; и разговор этот был оживленным, их души, казалось, находили удовольствие в соприкосновении друг с другом. В третий раз ему оставалось только побежать вслед за ними, - вечером они спустились во двор замка; когда они проходили мимо факела на наружной лестнице, их тени упали на кроны деревьев; он быстро перегнулся через перила, улучив этот миг, - но в древесной листве тени сами собой слились в одну. В любое другое время он попытался бы изгнать отраву из своего тела лошаадьми и конюшими, выжечь ее вином. Но капеллан и писец нажирались и опивались так, что вино и снедь выступали у них в уголках рта, а молодой рыцарь со смехом размахивал кувшином перед их носами, будто натравливал псов друг на друга. Кеттену претило вино, которое лакали эти нашпигованные схоластикой болваны. Они рассуждали о тысячелетней империи, об ученых вопросах и постельно-соломенных происшествиях; рассуждали по-немецки и на кухонной латыни. Проезжий гуманист служил, где возникала нужна, переводчиком между этой латынью и латынью португалки; он прибыл сюда с вывихнутой ногой и усердно тут ее залечивал.

- Он свалился с лошади, когда мимо пробежал заяц, - ляпнул писец.

- Он принял его за дракона, - сказал с мрачноватым сарказмом барон фон Кеттен, нерешительно стоявший подле.

- Но и лошадь тоже! - заорал капеллан. - Иначе бы она так не шарахнулась. Стало быть, магистр даже в лошадином разумении больше знает толк, чем господин барон!

Пьянчуги расхохотались, потешаясь над Кеттеном. Он посмотрел на них, подошел на шаг ближе и ударил капеллана по лицу. Капеллан - молодой плотный крестьянский парень - весь вспыхнул краской, но потом покрылся мертвенной бледностью и не сдвинулся с места. Юный рыцарь улыбнулся, встал и пошел искать свою подругу.

- Почему вы не пырнули его ножом? - окрысился заячий гуманист, когда они остались одни.

- Да ведь он силен, как два быка разом, - ответил капеллан, - и к тому же христианское учение поистине способно даровать утешение в таких случаях.

Но на самом деле барон фон Кеттен был еще очень слаб, и жизнь слишком уж медленно возвращалась к нему; он никак не мог нащупать вторую ступеньку к выздоровлению.

Чужак не торопился уезжать, а его подруга детства плохо понимала намеки своего господина. Одиннадцать лет ждала супруга, одиннадцать лет он был любовником славы и фантазии, - а сейчас неприкаянно бродил по замку и, источенный болезнью, выглядел как-то уж очень обычно рядом с юностью и куртуазной учтивостью. Она не слишком надо всем задумывалась, но она немного устала от этой страны, обещавшей когда-то несказанное, и вовсе не склонна была переламывать себя и из-за какого-то косога взгляда расставаться с другом юности, принесшим с собой аромат родины и говорившим слова, над которыми можно было смеяться. Ей не в чем было упрекнуть себя; она стала чуть беспечней за последние недели, но это доставляло ей удовольствие, и она чувствовала, что лицо ее теперь сияло порой так же, как в давние годы. Прорицательница, которую спросил Кеттен, предсказала ему: господин выздоровеет тогда, когда что-то свершит; он стал попытываться, что это такое, но она молчала, увиливала и заявила наконец, что ничего больше не может различить.

Он легко бы мог, не нарушая гостеприимства явно, пресечь его одним тонким надрезом - да и является ли святость жизни и долга гостеприимства неодолимой помехой для того, кто

долгие годы был незванным гостем у своих врагов! Но медленность выздоровления на этот раз заставляла его почти гордиться своей беспомощностью; столь утонченное коварство казалось ему не лучше, чем ребяческая речистость юного гостя. Странная приключилась с ним вещь. В туманном облаке болезни, окутывавшем его, образ жены являлся ему ласковее, чем он ожидал; она представляла перед ним такой же, как прежде, в те времена, когда он удивлялся порой, что любовь ее выражается более бурно, чем обычно, - хотя и не было такой причины, как, например, долгое отсутствие. Он не сумел бы даже сказать, печален он сейчас или весел; точь-в-точь как в те дни роковой близости смерти. Он не мог пошевелиться. Когда он смотрел в глаза жены, они были будто свежечерчены, его собственный образ плавал на самой поверхности, и его взгляда они в себя не впускали. У него было такое чувство, что должно случиться чудо, раз ничего более не случилось, и что нельзя принуждать судьбу говорить, когда она хочет молчать, а нужно только вслушиваться в то, что рано или поздно грядет.

Однажды, когда они после прогулки поднимались в гору к замку, наверху, у ворот, их встретила маленькая кошечка. Она стояла перед воротами, будто намеревалась не перемахнуть, как все кошки, через стену, а получить доступ, как все люди, через дверь; выгнув спину в знак приветствия, она стала тереться о юбки и сапоги этих больших существ, беспричинно удивляющихся ее явлению. Кошечку впустили, но это было уже все равно что принять в дом гостя, ибо уже на следующий день обнаружилось, что хозяйева, можно сказать, приютили маленького ребенка, а не просто кошку, - столь требовательно было это грациозное создание, вовсе не увлекавшееся соблазнами подвалов и чердаков, а, напротив, ни на секунду не покидавшее людского общества. И она обладала даром завладеть целиком их временем, что было уж совсем непостижимо, - ведь в замке находилось так много других, более благородных животных, да и с самими собой людям было немало хлопот; казалось прямо-таки, все происходит оттого, что они вынуждены волей-неволей опускать глаза книзу, чтобы наблюдать за крохотным существом, которое держалось совсем ненавязчиво и лишь самую малость тише, - если не сказать: печальней и задумчивей, - чем это приличествует котенку. Играла же эта кошечка так, будто хорошо знала, чего люди ожидают от котят, - вспрыгивала на колени и даже явно прилагала усилия к тому, чтобы быть ласковой с людьми, хотя чувствовалось, что она не всей душой с ними: и вот именно это - то, что отличало ее от обычного котенка, - и было как бы ее другой сутью, неким отсутствием или тихим нимбом святости, который окружал ее и о котором едва ли кто отважился бы сказать вслух. Португалка ласково склонялась над зверьком, лежавшим у нее на коленях, а кошечка, перевернувшись на спину, легонько, будто ребенок, царапала крошечными коготками заигрывающие с ней пальцы. Молодой друг со смехом склонялся над кошечкой и коленями, а барону фон Кеттену эта рассеянная игра напомнила о его еще не до конца преодоленной болезни, как будто эта болезнь со всей ее предсмертной лаской воплотилась в зверином тельце и была уже не просто в нем, а между ними. Пока один из слуг не сказал:

- У нее парша.

Барон фон Кеттен удивился, что сам этого не сообразил, а слуга добавил:

- Пора ее прикончить, пока не поздно.

Кошечка тем временем получила сказочное имя из одной книжки с картинками. Она стала еще ласковей и покорней. Теперь уже видно было, что она заболела и почти светится от слабости. Все дольше она дремала на коленях, отдыхая от мирских тревог, и ее маленькие коготки цеплялись за платье с опасливой нежностью. Теперь она подолгу смотрела на всех них по очереди: на бледного Кеттена и на молодого португальца, склонявшегося над ней и не сводившего взгляда то ли с нее, то ли с трепетного лона, на котором она возлежала. Она смотрела на них, будто испрашивала прощения за все те приближающиеся отвратительные страдания, которые ей, нераспознанной наместнице, предстояло за всех них претерпеть. А потом началось ее мученичество.

Однажды ночью ее стало рвать, и это длилось до утра; она лежала в занимающемся

свете дня изможденная и с блуждающим взглядом, будто ее долго били по голове. Но, может быть, бедную изголодавшуюся кошечку в переизбытке любви просто обкормили; однако в спальне после этого ей уже нельзя было оставаться; и ее отправили в людскую. Но на третий день слуги начали жаловаться, что никакого улучшения нет, и наверняка ночью вышвыривали ее на улицу. А ее теперь не только выворачивало, но и без конца проносило, так что совсем стало невмоготу. Поистине тяжким было это испытание - тут еле различимый нимб, там мерзость нечистот, и в результате, после того как разузнали, откуда она пришла, решено было отправить ее назад в то место, в крестьянскую избу, стоявшую ниже по течению реки, у подножья горы. Сегодня мы бы сказали, что ее вернули в родную общину, не желая ни отвечать за что-либо, ни выставлять себя насмех; но совесть угнетала всех; и они дали ей молока и немного мяса с собой, чтобы крестьяне, которых грязь не так уж смущала, ухаживали за ней получше. И все-таки слуги качали головами в укор своему господину.

Парень, отнесший кошечку, рассказывал, что она за ним побежала, когда он собрался уходить, и ему пришлось еще раз вернуться; на третий день она снова появилась в замке. Собаки пятились от нее, слуги, боясь господ, не решались ее прогнать, а когда господа увидели ее, то, хоть ни слова не было сказано, стало ясно, что теперь никто не захочет отказать ей в праве умереть здесь, наверху. Она совсем исхудала и потускнела, но свой тошнотворный недуг она, казалось, превозмогла и лишь на глазах убывала в теле. Последовали два дня, еще раз и в сугубой степени повторившие все, что было до этого: медленное, неслышное кружение вдоль стен чердака, на котором ее приютили; вялая улыбочивость лапок, тянувшихся к кусочку бумаги, который перед ней дергали за ниточку; иногда она слегка пошатывалась от слабости, хотя ее и поддерживали четыре ноги, а на второй день просто свалилась на бок. В человеке это медленное угасание не показалось бы таким страшным, но в животном это было как очеловечивание. Почти с благоговением они смотрели на нее; ни один из этих трех человек, в своем особом положении каждый, не был избавлен от мысли, что это его собственная судьба перешла в страждущую, уже наполовину отрешившуюся от всего земного кошечку. Но на третий день снова вернулась рвота, пачкотня. Слуга стоял над ней, и хотя он не решался повторить это вслух, молчание его говорило: "Надо ее прикончить". Португалец опустил голову, как при искушении, а потом сказал своей подруге:

- Ничего не поделаешь, - и у него было такое чувство, будто он согласился со своим собственным смертным приговором.

И тут все, не сговариваясь, посмотрели на барона фон Кеттена. Тот стал белее стены, поднялся и вышел. Тогда португалка сказала слуге:

- Возьми ее.

Слуга унес больную в свою каморку, и на другой день она исчезла. Никто ни о чем не спрашивал. Все знали, что он ее прикончил. Все чувствовали себя раздавленными невыразимой виной; что-то ушло от них. Только дети ничего не чувствовали и находили естественным, что слуга убил грязную кошку, с которой уже нельзя было играть. Но псы во дворе обнюхивали время от времени покрытый травой клочок земли, освещенный солнцем, напрягали лапы, топорили шерсть и косились в сторону. В одну из таких минут встретились во дворе барон фон Кеттен и португалка. Они стояли друг перед другом, смотрели на собак и не находили слов. Знак им был, но как истолковать его и что делать дальше? Купол тишины обнимал обоих.

"Если она до вечера его не отошлет, придется убить его", - подумал барон фон Кеттен. Но наступил вечер, и ничего не произошло. Кончился ужин. Кеттен сидел серьезный, ощущая жар легкой лихорадки. Потом вышел во двор прохладиться, не возвращался долго. Он не мог найти последнего решения хоть в продолжение всей своей долгой жизни умел находить его играючи. Седлать лошадей, надевать латы, обнажать меч - все, что было музыкой его жизни, теперь резало слух; борьба, которую он вел, представилась ему некой бессмысленной потусторонней суетой, и даже краткий путь кинжала был как нескончаемо долгая дорога, на которой иссыхаешь от зноя. Но и страдание было не по нем; он чувствовал,

что никогда до конца не выздоровеет, если не вырвется из его когтей. И между этими двумя возможностями постепенно все решительней обрисовывалась иная: мальчишкой он всегда мечтал взобраться по неприступной скале, подпирающей замок; это была безумная, даже самоубийственная мысль, но какую-то темную струну в нем затрагивала она, как господний приговор или близящееся чудо. Не он, а маленькая кошечка, теперь уже жилица небытия, вернется, казалось ему, этим путем. С тихой усмешкой он покачал головой, чтобы ощутить ее на своих плечах, но был он в это время уже далеко внизу, на каменистом пути, ведущем под гору.

На дне ущелья, у самой реки, он свернул - по камням, меж которых рвался поток, через кусты наверх, к стене. Луна затененными пятнами метила маленькие углубления, за которые можно было зацепиться пальцами рук и носками ног. Вдруг из-под подошвы сорвался камень; рывок пронзил жилы, ударил в сердце. Кеттен прислушался; казалось, минула бесконечность, прежде чем камень долетел до воды; стало быть, под ним уже было не меньше трети стены. И тут он будто наконец-то проснулся и понял, что он сделал. Добраться до низа мог только мертвец, подняться по стене - только дьявол. Он ощупывал рукою камни над головой. При каждом ухвате жизнь висела на десяти ремешках на тонких сухожилиях пальцев; пот проступил у него на лбу, жар бился в теле, нервы превратились в окаменелые нити; но странно - в этой борьбе со смертью сила и здоровье вливались в его члены, будто возвращаясь в тело извне. И невозможное удалось; еще один выступ, на самом верху, пришлось обогнуть, а потом рука уцепилась за подоконник. Видимо, иначе, как именно в этом окне, и невозможно было возникнуть; но он знал, куда попал; он перемахнул вовнутрь и сел на подоконнике, свесив ноги. Вместе с силой вернулось и неистовство. Своего кинжала, висевшего на боку, он не потерял. Ему показалось, что кровать пуста. Но он выжидал, пока совсем не успокоятся легкие и сердце. И постепенно ему становилось все очевидней, что в комнате он один. Он прокрался к постели: никто не ложился в нее в эту ночь.

Барон фон Кеттен крался по комнатам, переходам, через двери, которых с первого раза не отыщет без провожатого ни один человек, к покоям своей жены. Он прислушался и выждал, но никакого шепота не уловил. Он проскользнул вовнутрь; португалка безмятежно дышала во сне; он заглядывал в темные углы, ощупью пробирался вдоль стен, и когда он снова бесшумно выскользнул из комнаты, он чуть не запел от радости, расшатывавшей и сотрясавшей его неверие. Он рыскал по замку, но уже половицы и плиты гремели под его ногами, будто он отыскивал уготованную ему нежданную радость. Во дворе его окликнул слуга:

- Кто идет? - Он спросил о госте. - Уехал, - сообщил слуга, - уехал с восходом луны.

Барон фон Кеттен сел на груды полуобструганных бревен, и дозорные удивлялись, как долго он там сидел. Вдруг его охватил страх, что, если он сейчас снова войдет в комнату португалки, ее там уже не будет. Он стремительно постучался и вошел; молодая женщина вскочила с постели, будто ждала этого во сне, и увидела его перед собой - одетым, таким, как он и уходил. Ничего не было сказано и ничего не развеяно, но она его не спрашивала, и он ни о чем не смог бы ее спросить. Он отдернул тяжелые гардины на окнах, и снизу поднялась завеса вечного шума, за которым рождались и умирали все Катене.

- Если Бог мог стать человеком, он может стать и кошкой, - сказала португалка, и ему надо было закрыть ей рот ладонью, дабы пресечь богохульство, но они знали, что ни единого звука не проникало наружу из этих стен.

ТОНКА

I

Изгородь. Пела птица. Потом солнце было уже где-то за кустами. Птица умолкла. Смеркалось. Через поле шли девушки с песнями. Какие подробности! Разве это мелочи -

когда к человеку пристают такие подробности? Как репейники! И все это - Тонка. Иногда бесконечность сочится по капле.

Да, и еще лошадь, его гнедая, он привязал ее к стволу ивы. В тот год он отбывал армейскую повинность. Это не случайно произошло именно в тот год, потому что никогда в жизни человек не бывает так одинок и растерян, как в это время, когда чужая, грубая сила срывает все покровы с души. Человек в это время становится еще беззащитнее, чем обычно.

Но так ли это было вообще? Да нет - это все он сочинил потом. Получилась сказка, и он теперь в ней запутался. Ведь на самом-то деле, когда они познакомились, она жила у своей тетки. И кузина Жюли иногда заходила в гости. Да, так оно и было. Он еще удивлялся, что кузину Жюли сажали за стол и угощали кофе, - ведь она была семейным позором. Все знали, что с ней можно было заговорить на улице и тут же увести к себе домой; и к сводням она ходила, и вообще другого заработка у нее не было. Но, с другой стороны, она все-таки была родственница, хоть ее и осуждали за такую распушенность; она, конечно, шла по скользкой дорожке, но не отказывать же ей было от дома, тем более что и заглядывала она не часто. Мужчина еще устроил бы скандал, потому что мужчина читает газеты или посещает ферайны с благонамеренными уставами и всегда напичкан громкими фразами; тетка же ограничивалась лишь двумя-тремя едкими замечаниями после ухода Жюли, а пока с ней сидели за столом, трудно было удержаться от смеха, потому что девушка она была остроумная и знала про все, что делается в городе. В общем, хоть ее и порицали, но такой уж пропасти не было, - мостик все-таки существовал.

Или взять этих арестанток; почти все они тоже были проститутками, и вскоре даже пришлось перевести тюрьму в другое место, потому что многие прямо в заключении вдруг забеременели: все, конечно, пошло с соседней стройки, где они таскали известку, а арестанты-мужчины работали каменщиками. Так вот этих женщин брали на домашние работы - они, к примеру, очень хорошо стирали и пользовались большим спросом у простого люда, потому что обходились дешево. Тонкина бабушка тоже звала их постирать, угощала кофе с булками, а уж раз вместе с ними работали по дому, то и завтракали вместе и не брезговали. В обед их надо было отправлять в тюрьму с провожатым, такой был порядок, и обычно это поручали Тонке, когда она была еще девочкой; она шла с ними рядом, болтала и не стыдилась их общества, хотя их за версту можно было узнать по белым платкам и серым тюремным халатам. Наверное, тогда это еще была наивность, доверчивая наивность бедного крохотного существа, беззащитного перед огрубляющими влияниями; но когда Тонка позже, в шестнадцать лет, все еще бесстрашно шутила с кузиной Жюли - можно ли сказать, что и тогда она не ведала, что такое позор, или у нее уже утратилось самое ощущение позора? Если и тут не было ее вины, - все равно, как о многом это говорит!

Не забывать еще про сам дом. Он выходил пятью окнами на улицу - застрял там между высокими новыми домами, - и во дворе была пристройка; в ней жила Тонка со своей теткой, которая на самом деле была ее кузиной, только намного старше, и с ее маленьким сыном, который на самом деле был внебрачным сыном, хотя и произошел от связи, воспринимавшейся теткой столь же серьезно, как и законный брак; и еще с ними жила бабушка, которая была на самом деле сестрой бабушки, а еще раньше там жил настоящий брат Тонкиной покойной матери, но он тоже умер молодым; все это в одной комнате с кухонькой, в то время как за фасадом с пятью окнами, деликатно задернуты ми занавесками, скрывался известный всему городу притон, где встречались с мужчинами легкомысленные жены местных горожан, да и просто профессиональные дамы. Жильцы дома проходили мимо этих занавесок молча, но, поскольку ссориться со сводней не хотели, с ней даже здоровались, а она была дородной особой с повышенным чувством респектабельности и воспитывала дочку - ровесницу Тонки. Эту дочку она отдала в хорошую школу, заставила учить французский и играть на фортепьяно, покупала ей красивые платья и тщательно оберегала от общения со своими посетителями: у нее было мягкое сердце, и это облегчало ей занятие ремеслом, предосудительность которого она понимала. С дочкой Тонке иногда позволяли играть; тогда ей разрешалось входить в комнаты, которые в эти часы были

безлюдны и огромны и на всю жизнь оставили у Тонки впечатление роскоши и изысканности, - он лишь позже свел это впечатление к надлежащим масштабам. Кстати говоря, звали ее не совсем Тонка: при рождении ей дали немецкое имя Антония, а Тонка была сокращением от чешского ласкательного Тонинка, - в этих кварталах говорили на странной смеси двух языков.

Опять эти мысли - куда они заведут?! Она же все-таки стояла тогда у изгороди, в полумраке раскрытой двери дома, крайнего по городской дороге, и на ней были шнурованные сапожки, красные чулки и яркие широкие накрахмаленные юбки, и когда она говорила, то все будто смотрела на бледный полумесяц, висевший над стогами, отвечала с робким лукавством, смеялась, и луна словно охраняла ее, а ветер так осторожно дул над жнивьем, будто остужал горячий суп. Он еще сказал тогда на обратном пути своему соседу по казарме барону Йорданскому: "Вот с такой девчонкой я бы не прочь покрутить. Боюсь только впасть с сентиментальность, - разве что взять тебя в друзья дома?" А Морданский, у которого дядя был владельцем сахарного завода, рассказал ему, что во время уборки свеклы на заводских плантациях работают сотни таких крестьяночек и во всем слушаются надзирателей и их помощников как негры. И ведь он точно однажды обозлился и оборвал разговор с Морданским, но это все-таки было в другой раз, а то, что прикидывалось сейчас воспоминанием, уже позже колючим кустарником разрослось в его мозгу. На самом деле он увидел ее впервые на Ринге - на той центральной улице с каменными павильонами, где на перекрестках стоят офицеры и правительственные чиновники, слоняются без дела студенты и начинающие negociанты, гуляют под руку девушки после работы, а которые полюбопытнее, и в обеденный перерыв; иногда, степенно раскланиваясь, прошествует какой-нибудь адвокат, член магистрата или видный фабрикант, и даже встречаются элегантные дамы совершенно случайно, просто по дороге домой из магазинов. Там вдруг его обжег ее взгляд, смешливый, мгновенный - как случайно попавший в лицо прохожему мячик; через секунду она уже отвела глаза в сторону с притворно-равнодушным видом. Он тут же обернулся - сейчас захихикает! - но Тонка шла с поднятой головой и как будто испуганная; она была еще с двумя подружками ростом поменьше, и лицо у нее было хоть и не красивое, но какое-то ясное, четкое, - ничего притворного, специфически женского, искусно продуманного до мелочей; рот, нос, глаза были просто ртом, носом, глазами и не нуждались ни в каких добавлениях, подкупая одним этим своим прямотушием и разлитой в них свежестью. Странно, что такой спокойный взгляд мог засесть как стрела, и ей как будто и самой вдруг стало больно.

Теперь все было ясно. Она тогда работала в магазине тканей, магазин был большой, продавщиц много. Она копалась в рулонах, когда покупатель требовал материю определенного образца, и руки у нее всегда были немного влажные, потому что тонкий ворс раздражал кожу. Тут не было ничего похожего на сон, на мечту, и лицо ее оставалось ясным. Но были еще сыновья директора. Один, как белка, с усами, распущенными на кончиках, и всегда в лаковых штиблетах. Тонка с увлечением рассказывала, какой он благородный, сколько у него штиблет и что он каждый вечер закладывает свои брюки между досками и придавливает кирпичами, чтобы сохранить стрелки.

И теперь, когда сквозь туман проступило что-то реальное, всплыла и та улыбка - горькая, понимающая улыбка его собственной матери, полная презрительного сострадания. Улыбка была совсем реальной. Она говорила: Господи, это же ясно, все эти девушки из магазина!.. Но хотя Тонка была еще невинной, когда он ее узнал, эта улыбка, коварно запрятавшись или замаскировавшись, потом не раз всплывала в его мучительных представлениях. Может, именно такой улыбки ни разу и не было; он и сейчас не мог бы за это поручиться. А потом ведь бывают брачные ночи, когда ничего нельзя сказать наверняка, - так сказать, психологические неопределенности, когда даже естество не в состоянии дать ясный ответ, - и в ту же секунду, как только это снова всплыло в его памяти, он понял: само небо было против Тонки.

II

С его стороны было непросительным легкомыслием устроить Тонку сиделкой и компаньонкой к своей бабушке. Он был еще очень молод и прибег к маленькой хитрости; золовка его матери знала Тонкину тетку, которая подрабатывала белошвейкой в "хороших домах", и он подстроил так, что ее спросили, не знает ли она какую-нибудь молодую девушку и так далее. Девушка должна была присматривать за бабушкой и кроме жалованья получить потом кое-что по завещанию, поскольку ожидалось, что года через два-три бабушка отмучается.

Но к тому времени уже случилось несколько незначительных происшествий. Например, как-то раз он пошел вместе с ней купить что-то для бабушки; на улице играли дети, и они оба вдруг увидели лицо ревушей маленькой девочки оно кривилось и морщилось от слез как червяк, и солнце било прямо в него. Он тогда с беспощадной отчетливостью разглядел вдруг за этим комочком жизни ту же самую смерть, что ждала своего часа в бабушкиных комнатах. Но Тонка, видите ли, "так любила маленьких!" - она наклонилась к девочке, стала с ней шутить, утешать ее; для нее это зрелище было забавным и ничего больше, хотя он и пытался ей внушить, что за этим скрывается и многое другое. Но с какой стороны он ни подступался, он повсюду наталкивался на все ту же непроницаемость мысли: Тонка не была глупой, но ей как будто что-то мешало быть умной, и впервые тогда он почувствовал к ней эту щемящую жалость, для которой так трудно найти объяснение.

В другой раз он спросил ее:

- Как долго вы, собственно говоря, живете у бабушки, фройляйн? - И когда она ответила, он сказал: - Уже? Да-а, со старухой это время, наверное, показалось вам вечностью...

- О! - удивилась Тонка. - А мне нравится.

- Да мне-то вы спокойно можете сказать правду. Не представляю себе, чтобы молоденькой девушке это было так уж приятно.

- Это моя работа, - ответила Тонка и покраснела.

- Ну хорошо, работа. Но ведь хочется и чего-то другого в жизни.

- Да.

- А у вас есть все, чего вам хочется?

- Нет.

- Да - нет, да - нет, - он уже начинал злиться, - что это за разговор? Ну хоть обругайте нас! - Он видел, как ответы дрожали у нее на губах, как она боролась с ними и в самую последнюю минуту их проглатывала, и ему вдруг стало ее жаль: - Вы, наверное, меня не поймете, фройляйн: я вовсе не думаю плохо о своей бабушке, не в этом дело, она несчастная женщина, но я смотрю на нее сейчас не моими глазами, так уж я устроен. Я смотрю на нее вашими глазами, и тогда она - просто отвратительная старая карга. Вы меня поняли?

- Да, - тихо сказала фройляйн и теперь уже вся залилась краской. - Я еще раньше поняла. Только я не знаю, как это сказать.

Тут он рассмеялся.

- Такого со мной еще не бывало: чтобы человек чего-то не мог сказать! Но теперь вы меня уж совсем раззадорили. Давайте я вам помогу. - Он глянул ей прямо в глаза и тем смутил ее еще больше. - Ну, скажите: может быть, вам доставляет удовольствие спокойно, добросовестно выполнять свои обязанности, изо дня в день, все как положено? Да?

- О, я... я не понимаю, что вы хотите сказать; моя работа мне нравится.

- Нравится - прекрасно. Но вас к ней тянет или нет? Ведь есть люди, которым, кроме повседневной работы, ничего другого и не надо.

- Я... я не понимаю.

- Ну, есть ведь еще желания, мечты, честолюбие! Неужели вас совсем не волнует вот такой день, как сегодня?

В каменной чаше города день дымился весенним медвяным маревом.

Теперь засмеялась фройляйн:

- Ну что вы! Только ведь это совсем другое.

- Другое? Так что же, значит, вам нравятся полутемные комнаты, разговоры шепотом, запах склянок с микстурами? Такие люди тоже бывают, фройляйн, но я уже вижу по вашему лицу, что это опять не то.

Фройляйн Тонка покачала головой, и уголки ее губ чуть опустились - в знак робкой иронии или просто от смущения. А он не отставал:

- Вот видите, как я все время попадаю впросак со своими догадками - вы даже смеетесь надо мной. Может, это придаст вам смелости? Ну?

И тогда наконец она пояснила. Не сразу. Запинаясь. Подыскивая слова, как будто ей приходилось втолковывать что-то необычайно сложное для понимания:

- Надо же мне как-то зарабатывать. Господи - всего-то!

Ах, какой он был утонченный осел, и какая вековая каменная глыба открылась за этими обыденными словами.

В другой раз они тайком ушли с Тонкой гулять; такие прогулки они устраивали в Тонкины выходные - ей их давали дважды в месяц; стояло лето. Когда наступил вечер, воздух стал таким же теплым, как руки и лицо; закроешь глаза при ходьбе, и кажется, что ты целиком растворяешься и паришь в беспредельном пространстве. Он сказал это Тонке; она засмеялась, и он спросил, поняла ли она его.

О да.

Он не поверил и попросил ее пересказать своими словами; а вот этого она не могла.

Тогда, значит, она не понимает.

Нет, почему же, - и вдруг: петь хочется!

Ну уж нет! Да! Препирались они довольно долго, но в конце концов запели, - как выкладывают на стол вещественную улику или отправляются на разведку местности. Пели они плохо, из оперетты, но, к счастью, Тонка пела тихим голосом, и он был рад этому проблеску такта. Она наверняка один-единственный раз в своей жизни была в театре, сказал он себе, и с тех пор этот пошлый мотив для нее - воплощение красоты бытия. Но она даже эти несколько мелодий слышала только от своих подружек по магазину.

Неужели они ей действительно нравятся? Его всякий раз раздражало, когда она вспоминала про свой магазин.

Тонка не знала, как это объяснить, и не знала, хороша эта музыка или плоха; просто она пробуждала в ней мечту самой когда-нибудь выйти на сцену и, не жалея сил, заставить людей смеяться от счастья или плакать от горя. Это уж было совсем смешно - если еще видеть при этом Тонкино взволнованное лицо; у него совсем испортилось настроение, и он уже не подпевал, а просто бурчал себе под нос. Тонка оборвала на полуслове; она, видимо, тоже что-то почувствовала, и некоторое время они шли молча, пока Тонка не остановилась и не сказала:

- А мне вовсе и не так хотелось петь.

И, заметив, что его взгляд чуть-чуть потеплел, она тихо запела снова, но на этот раз народные песни своего края. Они шли медленно, и эти печальные напевы щемили душу, как белые бабочки в лучах солнца. И сразу вдруг права оказалась Тонка.

Теперь уже он не мог объяснить, что с ним происходит, а Тонке приходилось мучиться сознанием своей глупости и бесчувственности, потому что она говорила не на обыкновенном языке, а на каком-то изначальном языке самой природы. Тогда он все понял: песни просто приходят ей в голову. Он подумал, что она очень одинока. Если бы не он, кто бы мог ее понять? И они опять запели вместе. Тонка подсказывала ему незнакомый текст, тут же переводила, и они, взявшись за руки, пели, как дети. Когда они останавливались, чтобы перевести дух, там, впереди, где сумерки заволакивали дорогу, тоже наступала мгновенная тишина; и хотя все это, конечно, было смешно и глупо, вечер сливался с их чувствами в одно.

А еще как-то они сидели на опушке леса, он смотрел, сощутив веки, только сквозь узкую щелочку между ними и молчал, занятый своими мыслями. Тонка испугалась, решив, что опять его чем-то рассердила. Она несколько раз набирала воздух, ища слов, но тут же робела и сникала. Так они сидели долго в полном молчании, и кругом был слышен только томительный лепет леса, ежесекундно возникавший и умолкавший то тут, то там. Один раз между ними вспорхнула бабочка и уселась на цветок с тонким высоким стеблем; цветок вздрогнул от прикосновения и закачался, а потом вдруг сразу замер, как оборвавшийся разговор. Тонка крепко вдавила пальцы в мох, на котором они сидели; но крохотные стебельки через секунду вновь выпрямились, ряд за рядом, и еще через секунду изгладился всякий след от лежавшей на них руки. Хотелось плакать, неизвестно почему. Если бы Тонка была научена думать так, как ее спутник, она почувствовала бы в эту минуту, что природа состоит сплошь из невзрачных малостей, существующих в такой же тоскливой отъединенности друг от друга, как звезды в ночи; божественная природа; по его ноге поползла оса, голова ее была похожа на фонарь, и он все время следил за ней. И смотрел на свой широкий черный ботинок, косо перечеркивающий бурую полосу дороги.

Тонку и раньше охватывал страх при мысли, что однажды на ее пути встанет мужчина и ей уже никуда не удастся свернуть. То, о чем с горящими глазами рассказывали ей старшие подружки-продавщицы, было торопливой и грубо-легкомысленной чувственностью, и всякий раз, когда мужчина и с ней пробовал перейти на нежности, она оцетинивалась после первых же его слов. Сейчас, когда она смотрела на своего спутника, ее вдруг что-то кольнуло в сердце; до этой минуты она не задумывалась над тем, что находится в обществе мужчины, потому что тут все было по-другому. Он лежал на спине, широко раскинув ноги, опершись на локти и опустив голову на грудь; Тонка почти с испугом украдкой заглядывала ему в глаза, а в них была какая-то странная улыбка; он закрыл один глаз, глядя другим вдоль своего тела; он явно сознавал, что его торчащий ботинок некрасив, и, наверное, сознавал также, что не Бог весть как это много - лежать рядом с Тонкой на опушке леса, но ничего не мог поделать: все по отдельности было некрасиво, а все вместе было счастьем. Тонка тихонько поднялась. Кровь застучала вдруг у нее в висках, сердце заколотилось. Она не понимала того, что он думал, но она все читала в его взгляде, и вдруг ей захотелось обхватить его голову и закрыть ему глаза. Она сказала:

- Надо идти, а то совсем стемнеет. Когда они вышли на дорогу, он сказал:

- Вы, наверное, скучали, но ко мне надо привыкнуть. Он взял ее под руку, потому что смеркалось, и начал

оправдываться за свою молчаливость и - уже непроизвольно - за свои мысли. Она не понимала того, что он говорил, но она по-своему разгадывала его слова, звучащие так серьезно в вечернем тумане. Когда же он начал извиняться еще и за эту свою серьезность, она совсем запуталась, а пресвятая дева Мария только подсказала ей, что надо крепче прижаться к его руке, и Тонке стало ужасно стыдно.

Он погладил ее руку.

- Мы с вами добрые друзья, Тонка, но - понимаете ли вы меня?

Помедлив, Тонка ответила:

- Не важно, понимаю я или нет, я ведь все равно не сумею ответить. Но мне нравится, что вы такой серьезный.

Конечно, это все были мелочи, но как странно, что ей пришлось пережить их дважды - одни и те же! Собственно говоря, они были с ней все время. И она не могла понять: как же это они позже вдруг стали означать прямую противоположность тому, что означали в первый раз? Такой неизменной оставалась Тонка, так проста и прозрачна была ее душа, что это было похоже на галлюцинацию, - как будто тебе вдруг привиделись наяву совершенно невероятные вещи.

Потом случилось уже событие - его бабушка безвременно скончалась; события ведь всегда происходят вне определенного времени и места - положат тебя куда-нибудь или просто забудут, и ты лежишь заброшенный, как никому не нужная вещь. Но то, что произошло намного позже, случается в мире тысячу раз в день, и невозможно только понять, почему это случилось именно с Тонкой.

А пока все шло строго по порядку, как полагается в приличных семьях: появился врач, пришли служащие похоронного бюро, выписали свидетельство о смерти, бабушку похоронили. С наследством, слава Богу, все обошлось без тягостных формальностей, - за исключением одного-единственного пункта завещания, касавшегося фройляйн Тонки с фантастической фамилией - одной из тех чешских фамилий, которые в переводе оказываются чем-нибудь вроде "Певунчик" или "По лугу шел". Существовал договор, согласно которому фройляйн Тонке, помимо жалованья, очень незначительного, за каждый полный проработанный год полагалась определенная сумма по завещанию, а поскольку семейство рассчитывало, что бабушка проболит дольше и, предвидя обременительность ухода за больной, на всякий случай распределило ежегодную сумму по принципу постепенного нарастания, то в результате получился совершенный пустяк, который особенно возмутил молодого человека, исчислявшего потерянные месяцы молодой Тонкиной жизни в минутах. Он присутствовал при том, как Гиацинт производил с ней расчет. Он сделал вид, что читает книжку - это были все еще "Фрагменты" Новалиса, - но на самом деле он внимательно за всем следил, и ему стало стыдно, когда его дядя назвал сумму. Да и тот, видно, тоже ощутил что-то похожее на стыд, потому что начал подробно объяснять фройляйн условия заключенного в свое время контракта. Фройляйн Тонка внимательно слушала его, плотно сжав губы, и с трогательной серьезностью следила за всеми выкладками.

- Значит, мы в расчете? - сказал дядя и выложил деньги на стол.

Она, скорее всего, ничего не поняла, вынула из кармана юбки маленький кошелечек, свернула бумажки и засунула их в него; но так как ей пришлось свернуть их в несколько раз, то, хоть их и было очень немного, комочек получился довольно толстый и уместился там еле-еле; раздувшийся кошелек оттопыривался у нее на боку под юбкой, как желвак.

Теперь у фройляйн был еще только один вопрос:

- Когда мне уходить?

- Н-да, - сказал дядя, - ну, несколько дней у вас еще займут всякие формальности; до тех пор вы, конечно, можете остаться. Но можете уйти и раньше - когда захотите: ваши услуги нам ведь больше не нужны!

- Спасибо, - сказала фройляйн и ушла в свою комнатку.

Тем временем другие приступили к распределению мелкой утвари. Они были похожи на волков, пожирающих убитого собрата, и уже успели порядком друг друга взвинтить, когда он спросил, не дать ли фройляйн по крайней мере какой-нибудь ценный подарок, раз денег ей досталось так мало.

- Мы уже ей выделили бабушкин большой молитвенник.

- Да, но ей наверняка было бы приятнее получить что-нибудь более существенное; что вы собираетесь делать вот с этим, например? - Он взял в руки коричневый меховой воротник, лежавший на столе.

- Это для Эмми. - Эмми была его кузина. - Да и как можно - это же норка!

Он рассмеялся.

- Кто сказал, что бедным девушкам непременно надо дарить только что-нибудь душещипательное? Вы хотите прослыть скупердяями?

- Ну знаешь, не вмешивайся не в свое дело, - заявила мать, но, сознавая, видимо, что он не так уж неправ, продолжала: - Ты же этого не понимаешь; не обделяй ее, не бойся! - И она широким жестом раздраженно отложила для фройляйн несколько носовых платков, рубашек и панталон умершей, а также черное платье из совсем еще нового сукна. - Ну вот этого,

надеюсь, хватит? Не так уж твоя фройляйн и старалась, и сентиментальной ее тоже не назовешь: ни после смерти бабушки, ни во время похорон она не выдавила из себя ни слезинки! Так что, пожалуйста, успокойся.

- Некоторые люди просто не так легко плачут; это же не аргумент, ответил сын не потому, что считал важным это сказать, а потому, что ему нравилась собственная находчивость.

- Ну хватит, - сказала мать. - Неужели ты не чувствуешь, что твои замечания неуместны?

Он проглотил этот выговор не из робости, а потому, что вдруг страшно обрадовался, что Тонка не плакала. Родственники были возбуждены, перебивали друг друга, но он заметил, что за интересами своими они следили неукоснительно. Говорили они неприятными голосами, но очень бойко, не стесняясь поднятого гама, и в конце концов каждый получил, что хотел. Умение говорить было не средством выражения мысли, а капиталом, украшением, выставленным напоказ; стоя перед столом с подарками, он вспомнил стихи: "Ему с крылатою мечтою послал дар песней Аполлон" - и впервые понял, что это действительно дар. Какой бессловесной была Тонка! Не умела ни плакать, ни говорить. Но если что-то не может выразить себя в слове и остается невысказанным, то, беззвучно канув в гомоне человеческом, оставляет ли оно хоть какую-нибудь зарубку по себе, хоть малую царапину на скрижалях бытия? Такой поступок, такой человек, такая середь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка - реальность она или воображение, хороша, безлика или плоха? Здесь, как видно, наши понятия подходят к той грани, где они теряют всякую опору. И он молча вышел из комнаты, чтобы сказать Тонке, что возьмет на себя заботу об ее судьбе.

Он застал фройляйн Тонку за сбором пожитков. На стуле лежала картонная коробка, еще две стояли на полу. Одна уже была перевязана бечевкой, но обе другие явно отказывались вместить разбросанные кругом богатства, и фройляйн прикидывала в уме, вытаскивала то одну, то другую вещь - чулки и платочки, шнурованные сапожки и катушки с нитками, - примеряла в длину и ширину и, как ни скудно было ее приданое, никак не могла его втиснуть, потому что саквояжи ее были еще скромней.

Дверь в комнату была распахнута, и он мог некоторое время наблюдать за Тонкой, оставаясь незамеченным. Когда она его увидела, то залилась краской и быстро встала перед раскрытыми коробками.

- Вы уже нас покидаете? - сказал он и обрадовался ее смущению. - А что вы собираетесь делать?

- Поеду домой к тете.

- И там останетесь?

Фройляйн Тонка пожала плечами.

- Постараюсь куда-нибудь устроиться.

- А тетя не будет вас попрекать?

- На несколько месяцев у меня денег хватит, а за это время я куда-нибудь устроюсь.

- Но вы же истратите все свои сбережения.

- Что поделаешь.

- А если вы не сразу найдете работу?

- Ну что же, тогда меня опять каждый день будут этим попрекать.

- Попрекать? Чем?

- Ну, что я ничего не зарабатываю. Уже было так - когда я работала в магазине. Зарабатывала я мало, но что я могла сделать? Вообще-то она никогда ничего не говорила. Только когда сердилась - но тут уж не смолчит.

- И потому вы пошли работать к нам? - Да.

- Знаете что, - сказал он вдруг. - Вы не поедете к своей тете. Вы что-нибудь найдете. Я... Я вам помогу.

Она не сказала ни "да", ни "нет", ни "спасибо"; но когда он ушел, она медленно вынула все вещи одну за другой из картонок и разложила по своим местам. Она страшно покраснела,

не могла собраться с мыслями, долго смотрела перед собой, держа в руке очередную тряпку, и потом поняла: это уже любовь.

А он, вернувшись в свою комнату, где на столе лежали все те же "Фрагменты" Новалиса, перепугался ответственности, вдруг взятой на себя. Неожиданно произошло что-то, что отныне должно было определять его жизнь, хотя вовсе не так уж близко его касалось. Может быть, он в эту минуту даже насторожился - оттого, что Тонка так просто приняла его предложение.

Но тут он вдруг подумал: "А с чего я вообще ей это предложил?" - и не смог ответить на этот вопрос, как и на вопрос о том, почему она согласилась. У нее лицо было такое же растерянное, как и у него. Ужасно глупое положение; как во время падения во сне - никак не можешь долететь до земли. Но он еще раз поговорил с Тонкой. Он не хотел быть неискренним. Говорил о полной свободе, о духовных запросах, о неприязни ко всем голубиным идиллиям, о возможных встречах с необыкновенными женщинами - как говорят все очень молодые люди, которые мало пережили, но многого хотят. Когда он заметил, что Тонкины ресницы дрогнули, он, вдруг испугавшись, что сделал ей больно, взмолился:

- Только вы поймите меня правильно!

- Я понимаю! - ответила ему Тонка.

IV

Все говорили: "Она же совсем простая девушка! Из магазина!" Ну и что? Другие женщины тоже ничего не знают и нигде не учились. Но нет, надо обязательно что-то нацепить на человека, какой-то опознавательный знак навек. Надо чему-то выучиться, приобрести принципы, положение в обществе; человек сам по себе ничего не значит. А каковы были они, те, у которых все есть, кто что-то значит? Да, возможно, мать боялась, что сын повторит ошибку ее собственной жизни - она в своем выборе оказалась недостаточно горда; ее муж был всего-навсего простым лейтенантом - обыкновенный жизнерадостный остряк, его отец. Она хотела в сыне исправить свою неудавшуюся жизнь, она за это боролась. В принципе он одобрял ее гордость. Но почему мать ни капельки его не трогала?

Она была воплощением долга; брак ее приобрел смысл лишь с болезнью отца. Как готовый к бою солдат, как часовой, отбивающийся от превосходящих сил противника, встала она тогда у постели медленно впадавшего в идиотизм супруга. До тех пор она тянула эту нескончаемую волюнку с дядей Гиацинтом. Он был им вовсе не родственник, просто друг дома, один из тех дядей, которых дети, едва успев открыть глаза, уже находят в семействе, - старший советник по финансовым вопросам и, по совместительству, популярный немецкий писатель, проза которого выходила солидными тиражами. Он принес в жизнь матери отблеск высоких идей и светского лоска, скрашивавший трагическое одиночество ее души, был начитан в истории, и потому его мысли, свободно обнимая тысячелетия и кардинальные вопросы бытия, казались тем гениальней, чем они были бессодержательней. По причинам, так и оставшимся для мальчика неясными, этот человек в течение многих лет питал к его матери восторженную, беззаветную и терпеливую любовь; может быть, потому, что мать, как истая дочь офицера, обладала четкими представлениями о характере и чести и ежеминутно излучала одним своим присутствием ту самую твердость принципов, которая нужна была ему для идеальных героев его романов, в то время как сам он смутно ощущал, что легкость его речи и слога происходила как раз от недостатка такой твердости. Но поскольку он, естественно, не хотел себе в этом признаваться, он убедил себя, что это вовсе не недостаток, а признак вселенской скорби, и необходимость искать поддержки в чужой стойкости воспринимал как извечный жребий всякой универсальной души. Разумеется, и даме при этом кое-что перепало от сладостного кубка возвышенного страдания. Они тщательно скрывали свои отношения даже от самих себя, считая их чисто духовными узами, но это удавалось не всегда; время от времени Гиацинт совершал рискованные оплошности,

приводившие их в ужас, и они каждый раз терялись перед дилеммой: пасть ли окончательно или, не смущаясь, снова мужественно шагать к прежним высотам. Но когда заболел супруг, их смятённым душам представилась желанная опора, и они, цепляясь за нее, могли каждый раз возвышаться духовно на тот самый сантиметр, которого им в данный момент не хватало. Отныне супруга была прочно ограждена стеной долга; если ей и случалось еще согрешить в душе, она компенсировала этот грех удвоенным рвением в уходе за больным, и простой, непреложный закон избавлял теперь их мысль от того колебания между велением страсти и велением долга, которое доставляло им особенно много хлопот.

Вот так и выглядели эти люди, которые что-то значили, - вот так проявлялся их дух, их характер. И сколько бы ни встречалось в Гиацинтовых романах любви с первого взгляда, человек, который без оглядки пошел бы за другим человеком - как зверь, знающий, где можно пить, а где нельзя, показался бы им диким, первобытным существом без малейшего представления о морали. В результате сын, испытывавший жалость к животной кротости отца, при всяком удобном случае атаковал Гиацинта и мать как своего рода духовную чуму, и потому его скоро отнесло в противоположном направлении, благо современная эпоха была так богата разнообразными возможностями. Всесторонне одаренный мальчик изучал химию и слышать не хотел о вопросах, не поддающихся однозначному решению, - больше того: он стал ярим врагом всяких разглагольствований и фанатическим приверженцем холодного, сухого, фантастического в своей сухости и воинствующего в своей новизне инженерного мышления. Он ратовал за уничтожение чувств, против стихов, добра, добродетели, простоты; певчим птицам нужен сук, на котором они могут сидеть, а суку нужно дерево, а дереву - бессловесный бурый перегон; сам же он просто парил в воздухе вне рамок времени; за этой эпохой, которая в равной мере строит и разрушает, придет другая, для которой мы с таким самоотречением, с таким аскетизмом закладываем фундамент, и только тогда люди поймут, каково было у нас на душе, - вот так примерно он рассуждал; надо стать суровым и сдержанным, как в полярной экспедиции. Немудрено, что уже в школе на него обратили внимание; студентом он выдвинул несколько изобретательских идей, собирался после получения докторской степени за один-два года их осуществить и потом с математической неотвратимостью подняться на том сияющем горизонте, каким представляет себе молодежь неясное, но всегда блистательное будущее. Тонку он любил потому, что не любил ее, потому что она не затрагивала его души, а просто омывала ее как проточная вода; но по-своему он любил ее даже больше, чем сам думал, и когда мать, почуявшая опасность, но не уверенная в справедливости своих подозрений, начала мало-помалу предпринимать осторожные, но целенаправленные расследования, он заторопился: сдал все экзамены и уехал из родительского дома.

V

Путь его лежал в большой немецкий город. Тонку он взял с собой: у него было такое чувство, что он выдаст ее врагам, если оставит в одном городе с ее теткой и своей матерью. Тонка уложила свои пожитки и покинула родину легко и бездумно, как уносится ветер с закатом солнца или дождь с порывом ветра.

В новом городе она поступила на работу, опять в магазин. С работой она освоилась быстро и ежедневно выслушивала похвалы. Но почему она получала такое низкое жалованье и почему не просила надбавки, хотя ей не прибавляли плату только потому, что она обходилась и так? Все, что ей было нужно, она, не задумываясь, брала у своего друга. Иногда он с ней заговаривал о деньгах, но не из-за этого, конечно, а просто потому, что ему не всегда нравилась ее скромность и хотелось, чтобы она стала наконец умней.

- Почему ты не потребуешь, чтобы тебе больше платили?

- Я не могу.

- Не можешь, а сама говоришь, что всегда помогаешь, когда что-нибудь не в порядке.

- Да.

- Так в чем же дело?

При таких разговорах Тонка выказывала неожиданное упрямство. Она не возражала, но убедить ее было совершенно невозможно. Он мог говорить ей: "Слушай, ты же противоречишь сама себе; пожалуйста, объясни мне все-таки, в чем дело", - но ничто не помогало.

- Тонка, если так будет и дальше, я рассержусь. Тогда только, когда он заносил такую вот плетку, этот упрямый маленький мул - ее скромность нехотя трогался с места и что-нибудь вывозил на свет божий; однажды, к примеру, выяснилось, что у нее корявый почерк и еще она боится наделать ошибок; она стыдилась ему в этом признаться, так что в уголках милых губ сначала дрогнул испуг и лишь постепенно выгнулся в радугу улыбки, когда она почувствовала, что ее не осуждают за этот ужасный порок.

А он, напротив, любил такие ее изыяны, как ноготь, изуродованный во время работы. Он послал ее учиться в вечернюю школу и радовался тому, какой она там приобрела забавный почерк: стала писать с завитушками, как приказчик! Ему милы были даже всякие немислимые суждения, которые она оттуда приносила. Она как будто приносила их во рту не разжевав; было какое-то врожденное благородство в том, как беспомощна она была перед всякой суетностью и пустотой и в то время интуитивно не впускала их к себе в душу. С поразительной безошибочностью, не умея выразить почему, она отвергала все грубое, бездуховное и пошлое, но у нее совершенно отсутствовало желание выйти за пределы собственного круга понятий; она была чиста и невозделана, как сама природа. Совсем не просто было любить такую простушку. А иногда она поражала его знанием вещей, которые были бесконечно от нее далеки, - даже в химии; когда он, увлекшись, рассказывал что-нибудь скорее вслух самому себе, вдруг обнаруживалось, что она знает это, знает то. Разумеется, в первый же раз он удивился и спросил ее. Брат ее матери, живший одно время у них в маленькой пристройке за домом свиданий, был студентом. "А где он сейчас?" "Он умер сразу после экзаменов". - "И ты все это запомнила?" - "Я была совсем еще маленькая, - рассказывала Тонка, - но когда он учил, я должна была его спрашивать. Я не понимала ни слова, но он писал мне вопросы на бумажках." Точка. И больше десяти лет все это лежало в ящичке, как красивые камешки с неизвестными названиями! Вот и сейчас, когда он работал, все ее счастье было в том, чтобы молча сидеть рядом. Она была природой, которая только еще начинает одухотворяться, - не то чтобы сознательно хочет стать духом, но любит его и инстинктивно тянется к нему, как одно из многих существ, прибившихся за тысячелетия к человеку.

Его отношение к ней в то время было непростым и в равной мере далеким и от влюбленности, и от легковесности. Собственно говоря, еще у себя на родине они поразительно долго были безгрешны. Они виделись вечерами, ходили вместе гулять, рассказывали друг другу о всяких мелких дневных происшествиях и огорчениях, и это было так же приятно, как есть хлеб, посыпанный солью. Позже он, разумеется, снял комнату, но сделал это просто потому, что так полагается, и еще потому, что нельзя же зимой целыми днями торчать на улице. Там они впервые поцеловались. Получилось несколько скованно - скорее подтверждение, чем удовольствие, - и губы у Тонки от волнения стали совсем жесткими и сухими. Тогда же они заговорили и о том, чтобы "принадлежать друг другу целиком". То есть завел разговор он, а Тонка молча слушала. С убийственной четкостью, навек врезающей в память однажды совершенную глупость, он вспоминал позже свои юношески-назидательные рассуждения о том, что это неизбежно, что лишь после этого люди до конца раскрываются друг другу, - так вот они и разрывались между чувством и теорией. Тонка сначала уговаривала его подождать несколько дней. Наконец он оскорбился и спросил, такая ли уж это для нее огромная жертва. Тогда они назначили день!

И Тонка пришла. Она была в обычном своем темно-зеленом жакетике, голубом берете с черным помпоном, и щеки ее порозовели от быстрой ходьбы на воздухе. И вот она накрывает на стол, готовит чай. Только чуть сосредоточенней, чем обычно, и смотрит

исключительно на то, что в эту секунду держит в руках. И хотя он целый день прождал ее с нетерпением, сейчас он сидит на диване, весь застывший, одеревеневший от юношеской неловкости, и наблюдает за ней. Он сразу понял, что Тонка не хотела думать о неизбежном, и вдруг пожалел, что назначил твердый срок - как судебный исполнитель! Но он только сейчас сообразил, что ему надо было бы застигнуть ее врасплох, взять ее лаской и уговорами.

Радости не было и в помине, - скорее он робел, стыдясь поднять руку на эту свежесть, овевавшую его как прохладный ветер при каждой встрече. Он попытался убедить себя в том, что рано или поздно это должно случиться, и, когда он следил за произвольными движениями Тонки, ему показалось, что его мысль петлей захлестнулась вокруг ее ног и с каждым оборотом притягивает ее все ближе и ближе.

Молча поужинав, они сели рядом. Он попытался сострить, Тонка попыталась рассмеяться. Но губы ее натужно скривились, и она сразу стала серьезной.

И тут он спросил:

- Тонка, а ты хочешь? Ты в самом деле согласна?

Тонка опустила голову, и в ее глазах будто что-то промелькнуло, но она не сказала "да" и не сказала "я тебя люблю", а он наклонился к ней и, вконец смутившись, начал тихим голосом ее уговаривать:

- Знаешь, сначала это кажется непривычным, наверное даже грубым. Но ты подумай, не можем же мы... понимаешь, ведь это же не просто так... А ты тогда закрой глаза. Ну?..

Кровать уже была постелена, и Тонка встала и пошла к ней, но вдруг в нерешительности села рядом на стул. Он окликнул ее:

- Тонка!..

Она опять встала и, отвернувшись, начала раздеваться.

Неблагодарная мысль омрачила этот сладкий миг.

Приносила ли Тонка себя в жертву? Он не обещал любить ее, - почему же она не возмущалась положением, исключавшим для нее всякую надежду? Она все делала молча, как рабыня по приказу господина, - так, может быть, она и другому подчинится так же, стоит тому пожелать? А она уже стояла во всей обреченности своей первой наготы, и кожа ее, как слишком узкое платье, так трогательно обтягивала тело; его плоть оказалась человечней и умней, чем его юношеский заносчивый ум, и когда он в следующую секунду взметнулся с дивана, Тонка, как бы желая спрятаться от него, странно неловким и непривычным движением скользнула в кровать.

Он запомнил только одно: проходя мимо стула, он вдруг ясно ощутил, что самое привычное и родное осталось тут, вместе с ее сброшенной одеждой, так хорошо ему знакомой; на него пахнуло тем милым ароматом свежести, который он первым делом ощущал, когда они встречались; а в постели его ждало незнакомое и чужое. Он помедлил секунду; Тонка лежала с закрытыми глазами, повернувшись лицом к стене, вытянувшись и замерев в неизбывном тоскливом одиночестве. Когда она почувствовала его около себя, к глазам ее прихлынули теплые слезы. Потом пришла новая волна страха, ужаса от сознания своей неблагодарности; нечленораздельное слово мольбы, вырвавшееся из бездонных темных глубин, превратилось в его имя, - и она уже принадлежала ему; вряд ли он и понял, с какой чарующей, детски-отчаянной храбростью она прокралась в него, какую немудреную хитрость она придумала, чтобы завладеть всем, что она в нем боготворила: надо просто отдать ему себя целиком, и тогда ты с ним станешь одним целым. А он уже и не помнил потом, как это случилось.

VI

Потому что в одно прекрасное утро все разом переплелось в сплошной колючий кустарник.

Они уже прожили вместе несколько лет, когда однажды Тонка почувствовала, что беременна, и угодно же было небу избрать для этого такой именно день, что по нормальным подсчетам зачатие приходилось на время его частых отсутствий и поездок; впрочем, Тонка заметила свое состояние только тогда, когда точно определить срок было невозможно.

В такой ситуации соответствующие мысли сами собой лезут в голову, хотя за версту кругом не было ни одного мужчины, которого можно было бы заподозрить всерьез.

Несколькими неделями позже судьба заявила о себе еще неотвратимей: Тонка заболела. Это была болезнь, которая заносится в кровь матери ребенком или без его посредства, через отца, - тяжелая, медленная, страшная болезнь; но прокралась ли она окольным или ближайшим путем? Странно здесь было и то, что сроки в обоих случаях не сходились. Сам он, по всем человеческим понятиям, был как будто здоров, и, стало быть, либо их с Тонкой запутала какая-то уж совсем мистическая сила, либо Тонка все-таки взяла на душу самый что ни на есть обыкновенный человеческий грех. Были, конечно, и другие естественные возможности - в теории, так сказать, платонические, - но их вероятность практически равнялась нулю; практически вероятность того, что он не был ни отцом Тонкиного ребенка, ни причиной ее болезни, была почти стопроцентной.

Отвлекитесь теперь на минуту и попробуйте представить себе, как трудно ему было это понять. Практически! Когда вы являетесь к какому-нибудь толстосуму и вместо того, чтобы сразу раззадорить его перспективой барыша, пускаетесь в рассуждения о нынешних временах, о возможностях, которые представляются нынче состоятельным людям, - он сразу решит, что вы пришли его надуть. И он наверняка не ошибется, - хотя в принципе вы могли на самом деле прийти к нему просто для того, чтобы научить его уму-разуму. Точно так же и судья ни на секунду не усомнится в том, что обвиняемый врет, если тот начнет ему рассказывать, что найденную у него вещественную улику он получил от "совершенно незнакомого человека". А ведь возможность-то такая тоже не исключена! Но так уж к нашему общему благу устроен мир, что все возможности взвешивать не обязательно - крайних случаев практически не бывает. А вот теоретически? Пожилой доктор, к которому он сразу повел Тонку, только пожал плечами, оставшись с ним наедине. Возможно? Ну, конечно, возможность не исключена; глаза у него были хорошие и беспомощные, но они явно говорили: стоит ли попусту гадать - все равно вероятность эта для привычного разумения практически бесполезна. Ученый ведь тоже человек, и чем предполагать что-то совсем невероятное с медицинской точки зрения, он скорее предложит в качестве причины какой-нибудь чисто человеческий промах - исключения в природе редки.

С этого Дня им овладело уже что-то вроде мании расследования. Он без конца ходил по врачам. Второй врач сказал ему примерно то же, что первый, а третий - что второй. Он торговался. Он пытался играть на противоречиях между воззрениями разных медицинских школ. Ученые господа выслушивали его молча или снисходительно улыбаясь - как чудака и неисправимого глупца. И он сам, конечно, как только раскрывал рот, понимал, что с тем же успехом мог бы спросить: а возможно ли непорочное зачатие? И ему ответили бы только: этого еще не бывало. Ему бы даже не привели закона, который бы это исключал, просто этого еще не бывало. И все равно был бы безнадежным рогоносцем, если бы это вообразил!

Возможно, один из его консультантов так прямо ему и сказал, или он однажды сам до этого додумался, - во всяком случае, он вполне мог додуматься до этого и сам. Но как возможно было бы застегнуть пуговицу воротничка, если бы мы захотели продумать сначала все возможные комбинации пальцев, так все это время наряду с логической уверенностью перед ним стояла другая реальность: лицо Тонки. Ты идешь по полю, вдыхаешь тепло земли, вокруг чертят по небу ласточки, вдали видны городские башни, звучат девичьи голоса... ты далек от всяких истин, ты находишься в мире, не знающем самого этого понятия - истина. Тонка уходила в глубь легенд, в мир помазанника божьего, девы Марии и Понтия Пилата, а врачи говорили, что надо щадить ее и беречь, чтобы она выжила.

Разумеется, время от времени он все-таки пытался заставить Тонку сознаться; на то он был мужчина и не дурак. Но она работала тогда в огромном грязном магазине в рабочем квартале, в семь должна была уже быть на месте и уходила оттуда не раньше половины десятого вечера - часто из-за нескольких жалких пфеннигов, которыми обогащал кассу последний запоздавший покупатель; она не видела солнца, ночью они спали порознь, и на всякие душевные проблемы времени совсем не оставалось. Они боялись даже и за это жалкое существование; вдруг заметят, что она беременна, - а у них уже тогда начались денежные затруднения; все свои средства он давно израсходовал на обучение, а зарабатывать сам не мог; в начале всякой научной карьеры это вообще нелегко, а он в ту пору хоть и не решил еще поставленной задачи, но был совсем близок к ее решению, и ему приходилось напрягать все силы для завершения работы. При такой жизни - беспросветной и полной забот - Тонка быстро начала увядать, и, конечно же, отцветала она не роскошно, как некоторые женщины, источающие при увядании головокружительный аромат, а сникала неслышно, как неказистая кухонная травка, которая желтеет и сморщивается, лишь только утратит свою зеленую свежесть. Щеки ее потемнели и ввалились, от этого заметней выступал на лице крупный нос, и оказалось, что у нее очень большой рот и даже торчат уши; и с тела она спала - там, где раньше была гибкая упругость плоти, проступил теперь угловатый крестьянский костяк. У него самого, благодаря хорошему воспитанию, горе меньше отражалось на лице, и одевался он все еще прилично, но, выходя с ней на улицу, он стал теперь все чаще ловить на себе удивленные взгляды встречных. А поскольку он не был лишен тщеславия, то его злило, что он не мог закупить Тонке красивых платьев, и оттого еще больше на нее же и злился, злился на ее бедность, в которой сам был виноват, хотя, честное слово, если бы он только мог, он сначала подарил бы ее красивыми свободными платьями, какие шьют для беременных, и только потом притянул бы к ответу за неверность. Сколько он ни старался добиться признания, Тонка все отрицала. Она не знала, почему так вышло. Когда он умолял ее хотя бы ради их прежней дружбы не лгать ему, на лицо ее ложилась страдальческая черта, а если он начинал сердиться, она просто говорила, что не лжет, - ну что тут можно было поделывать? Ударить ее, оскорбить, бросить одну в таком ужасном положении? Он больше не спал с ней, но она даже под пыткой ни в чем бы теперь не созналась - уже потому только, что с тех пор, как он перестал ей доверять и она это поняла, она не могла из себя выдавить ни слова, и это каменное упорство, эта замкнутость, не смягчавшаяся теперь, как раньше, даже редким проблеском милой улыбки, еще больше его обезоруживала. Приходилось собирать всю свою выдержку и ждать. Он решил попросить денег у матери. Та ответила, что отец находится в преддверии смерти и все наличные средства должны быть под рукой на случай этого прискорбного исхода; проверить ее он не мог, хотя и знал, что больше всего на свете мать боится, как бы он не женился на Тонке. Ее, собственно, страшило уже то, что из-за Тонки он вообще ни на ком не женится; и когда все так затянулось - и учение, и блестящее будущее, и болезнь отца, и домашние неурядицы, - во всем оказалась виноватой Тонка; ее воспринимали уже не просто как первопричину бесконечных невзгод, но почти как дурное предзнаменование, как злой рок, - это через нее впервые было нарушено привычное течение жизни в семействе, это она накликала на него беду. В переписке и при его наездах домой - поначалу туманно, потом все яснее - ему высказывалось это убеждение, основанное, в сущности, на элементарной боязни семейного позора - оттого, что сын зашел в своей связи с "этой девушкой" дальше, чем бывает принято у молодых людей. Гиацинт тоже считал нужным его предостеречь, и когда юноша, шокированный этим неосознанным суеверием, неприятно напомнившим ему его собственные страхи, запальчиво начал спорить, Тонку называли "безответственной особой", вносящей разлад в семью, а потом дело дошло и до неуклюжих намеков на "всякие эротические штучки", с помощью которых она его "удерживает при себе", - намеков,

высказанных со всей наивностью образцово-добродетельных матерей. Они явственно читались и сейчас между строк в полученном им ответе, - как будто каждый пфенниг, раз он поддерживал его связь с Тонкой, мог принести ему только беду. Тогда он написал еще одно письмо, где сообщил, что скоро станет отцом.

В ответ мать приехала сама.

Она приехала, чтобы "поставить все на место".

Она не переступила порога его дома, словно боясь прикосновения скверны, и вызвала его в отель. Первое легкое смущение она подавила в себе сознанием долга и стала говорить ему об огорчениях, которые он всем им причиняет, о тяжелом состоянии отца и об оковах на всю жизнь; с неуклюжей искусностью она использовала все чувствительные регистры души, а он, хоть и скучал откровенно, видя насквозь ее уловки, все же слушал с настороженным любопытством, потому что его привлек тон всепрощающего понимания, неизменно присутствовавший в ее словах.

- Кто знает, - говорила она, - может, это несчастье обернется на самом деле счастьем для тебя, и мы все отделаемся, - говорила она, - просто кратковременным шоком; главное теперь - извлечь для себя из всей этой истории урок на будущее!

Вот почему она, несмотря на все трудности, уговорила отца пожертвовать известную сумму; этих денег - она преподнесла это как царскую милость с их стороны - вполне хватит, чтобы удовлетворить все претензии и девушки и ребенка.

К ее собственному удивлению, сын хладнокровно спросил о размерах предлагаемой суммы и, выслушав, еще хладнокровней покачал головой, сказав просто:

- Ничего не выйдет. Воспрянув духом, она возразила:

- Выйдет! Ты сейчас просто ослеплен; тысячи молодых людей совершают подобные глупости, а потом слушаются старших. Это же такой удачный случай, чтобы развязаться; ты не можешь упустить его из-за ложно понятой чести - это просто твой долг перед семьей и перед самим собой!

- То есть как это удачный случай?

- Ну, конечно! Я уверена, что твоя приятельница разумнее тебя: она-то уж наверняка знает, что с появлением ребенка такие связи прекращаются.

Он попросил дать ему сутки на размышление: что-то в нем дрогнуло.

Мать, врачи с понимающей улыбкой, мерный шум подземки по дороге домой, к Тонке, четкие, повелительные движения полицейского на перекрестке, грохочущий водопад городской суеты - все было заодно; лишь он стоял один, в пустоте под этим водопадом - не залитый, но отрезанный от всего.

Он спросил Тонку, согласилась ли бы она.

Тонка сказала - да. Какая-то жуткая двусмысленность была в этом ответе. Он прозвучал вполне рассудительно, как и предсказывала мать, но уголки губ, произнесших это "да", потерянно дрогнули.

И тогда он сам на следующий день сказал матери прямо в лицо, что, возможно, он вовсе и не отец ребенка, что Тонка больна, но что он, несмотря ни на что, скорее сам согласится признать, что он болен и ребенок - от него, а Тонку не бросит.

Мать только беспомощно улыбнулась в ответ, ласково взглянула на него, как на слепца, и ушла. Он понял, что теперь она с удесятеренной энергией примется защищать свою плоть и кровь от позора и что он приобрел себе в союзники очень могущественного врага.

VIII

Наконец Тонку уволили - он уже почти начал тревожиться оттого, что это новое несчастье не приходило так долго. Директор магазина был низеньким уродливым человечком, но в их отчаянном положении он представлялся им прямо какой-то сверхъестественной силой. Они уже задолго до этого прикидывали: наверное, он все понял,

но он просто порядочный человек, который не станет подталкивать и без того несчастного к пропасти; потом решили: он ничего не замечает, слава Богу, он еще вообще ничего не заметил! Но однажды утром он вызвал Тонку в контору и прямо спросил, в чем дело. Она не смогла ответить, только слезы выступили на глазах. Но этого благоразумного человека ничуть не растрогало, что она не могла говорить; он выписал ей месячное жалование и уволил тут же, на месте. И еще страшно разозлился, кричал, что не сможет теперь быстро найти замену, что Тонка не имела права обманывать его и скрывать свое положение, когда нанималась на работу, - даже секретаршу не попросил выйти, когда ей все это говорил. Тонка после этого почувствовала себя совсем уж падшей и дурной женщиной, а он в душе не мог не восхищаться этим ничтожным мелким торгашом, который, не колеблясь ни секунды, принес Тонку в жертву своим деловым интересам, и вместе с ней ее слезы, ее ребенка и один Бог знает какие открытия, какие души и какую человеческую судьбу, ничего этого он не знал и не хотел знать.

Теперь они стали обедать в маленькой столовой, где среди грубости и грязи за несколько пфеннигов получали еду, которая не лезла ему в горло. Он заходил за Тонкой ежедневно в обеденный час, свято выполняя свой долг. Странное впечатление производил он там среди подмастерьев и рассыльных в своем элегантном еще костюме, молчаливый, неотлучный и верный рыцарь беременной спутницы. Он ловил на себе насмешливые взгляды, иногда одобрительные, но они жгли его еще больше. Он ходил как лунатик среди людского щебня большого города, с неотвязной мыслью о своем изобретении и с уверенностью в Тонкиной измене. Никогда прежде он так остро не ощущал железную круговую поруку внешнего мира; где бы он ни шел, всюду за ним как будто гналась по пятам собачья хрипая свора, - жадность у каждого своя, но все вместе - свора, и только ему одному некого было попросить о поддержке или хоть просто пожаловаться на свою судьбу; у него никогда не было времени для друзей, да и особого желания дружить с кем-нибудь - тоже: он весь был поглощен своими идеями, а такой груз может оказаться смертельным, пока люди не сообразят, что они могут извлечь из него выгоду. Он даже не мог представить себе, в каком направлении искать помощь: он был всем чужой. А Тонка? Кем была ему она? Дух от духа его? Нет, по роковому стечению судеб и она была чужим существом со своею тайною тайной, существом, просто прибившимся к нему!

Лишь вдали сквозь узкую щелку пробивался свет, и он всеми помыслами тянулся к нему. Он работал над своим изобретением, а оно в конце концов имело значение для всех, и здесь была все-таки не одна только работа мысли, а и многое другое: предчувствие победы, мужество, вера, которые никогда не обманывают, здоровая жажда жизни, ставшая его путеводной звездой. Тут и он шел по путям наибольших вероятностей, и постоянно какая-нибудь из них оправдывалась; он твердо верил, что так будет и впредь, что в конце концов он подарит людям важное открытие; начини он проверять все возможные сомнения так же, как он это делал с Тонкой, он никогда не пришел бы к концу: думать значит думать не слишком много, и не жертвуй мы в чем-то безграничностью нашего изобретательского дара, мы не сделали бы ни одного открытия. Вот эта половина его жизни, как иногда ему думалось, находилась под незримой, таинственной, но счастливой звездой. А другая не была озарена. Они купили с Тонкой три лотерейных билета перед очередными скачками. Когда появилась таблица, он специально дождался Тонку, чтобы по дороге купить газету и проверить вместе с ней. Лотерея была мизерная, с главным выигрышем в каких-то несколько тысяч марок, - но ничего, на ближайшее будущее этого бы хватило. Будь это даже несколько сотен марок, все равно он мог бы купить Тонке самое необходимое из платьев и белья или переселить ее куда-нибудь из затхлой мансарды. Будь это даже просто двадцать марок - это бы хоть подбодрило их, и он накопил бы новых билетов. В конце концов, даже пять каких-нибудь марок он воспринял бы как добрый знак, как свидетельство того, что неведомые сферы благосклонно отнеслись к его попытке снова укорениться в жизни.

Но ни один билет не выиграл. Конечно же, он купил их только шутки ради, и уже когда он ждал Тонку, он ощущал внутри сосущую пустоту, предвещающую неудачу; колебался ли

он все-таки между иллюзией и безысходностью, или это просто происходило оттого, что в его положении даже двадцать пфеннигов, потраченных впустую, означали ощутимый расход, но он вдруг твердо понял, что существует необратимая сила, недоброжелательная к нему, и что все кругом ему враждебно.

После этого он стал по-настоящему суеверен; то есть суеверен стал тот человек в нем, который вечерами встречал Тонку с работы, - другой по-прежнему бился над научными проблемами. У него было два перстня, которые он надевал попеременно. Оба были дорогие, но один был старинный и с благородным камнем, а другой, новый, ему подарили родители, и он им раньше пренебрегал. Но однажды он заметил, что в те дни, когда он надевал новый перстень - обыкновенное дорогое пошлое кольцо, каких тысячи, - с ним реже приключались всякие напасти, чем когда он надевал старинный, и с этого дня он больше не решался носить тот перстень, а носил этот - как добровольное ярмо. В другой раз ему повезло в день, когда он не успел побриться; когда же он на следующее утро, вопреки этому наблюдению, побрился, он был наказан за провинность очередной мелкой неприятностью - одной из тех, которые только в его положении из пустяков превращаются в несчастья; с тех пор он боялся трогать свою бороду; она росла теперь без помех, он только тщательно подстригал ее клинышком, и все последующие горестные недели носил эту бороду. Она искажала его лицо, но для него она была как Тонка: он ухаживал за ней тем заботливей, чем некрасивей она выглядела. Возможно, и его чувство к Тонке становилось тем нежнее, чем больше она его огорчала, и бороду свою он так любил потому, что она была уродлива внешне. Тонке борода не нравилась, и она не понимала, зачем это. Не будь Тонки, он так бы и не узнал, как уродовала его борода, потому что мы мало знаем о себе, когда рядом нет других людей, в которых бы мы отражались. И поскольку мы вообще ничего о себе не знаем, он иногда, возможно, желал Тонкиной смерти, чтобы этой невыносимой жизни пришел конец, и борода нравилась ему просто потому, что все закрывала и скрывала.

IX

Время от времени он пробовал застигнуть ее врасплох каким-нибудь притворно-безобидным, гладко звучащим вопросом, рассчитывая, что при всей своей осторожности она все-таки когда-нибудь да и поскользнется. Но чаще не выдерживал он. "Ну пойми ты - бессмысленно отрицать очевидные факты! Ты мне только скажи, как это могло случиться. Мы же всегда были так искренни друг с другом!" - внушал он ей. Но у нее всегда был один ответ: "Если ты мне не веришь, прогони меня"; и, конечно же, она играла тут на своей беззащитности, но, несомненно, это был самый правдивый ответ, потому что защищаться с помощью медицинских и философских аргументов она не могла, и все, что она могла, - это поручиться за правду своих слов только правдой самого своего существования.

Он всегда провожал ее, когда она куда-нибудь выходила, потому что не решался отпускать ее одну, - не то чтобы он боялся чего-то определенного просто беспокоился, как она пойдет одна по широким чужим улицам. А когда он встречал ее вечером, они шли вместе, и если им попался в сумерках мужчина, не приветствовавший их, то ему сразу казалось, что он где-то видел это лицо, что Тонка покраснела, и он вдруг вспоминал - где-то, случайно, они с ним уже встречались, и с той же уверенностью, с какой он мог поклясться в искренности невинного выражения на Тонкином лице, он клялся себе: тот самый! То это был состоятельный практикант экспортной фирмы, которого они и видели-то раньше только один раз мельком; то тенор из кабаре, потерявший голос и снимавший одно время комнату у той же хозяйки, что и Тонка. Каждый раз это были вот такие, до смешного невероятные личности; их будто кто-то швырял в его память, как перевязанные грязные пакеты с запятанной в них истиной, и всякий раз, при первой же попытке развязать такой пакет, оставалось, как горсть пыли, мучительное ощущение бессилия.

Вот так уличать Тонку в неверности стало для него уже каким-то наваждением. Тонка

сносила все с обычной своей трогательной, бессловесно-нежной покорностью, - но мало ли что могла скрывать эта покорность! А стоило ему проверить одно за другим свои воспоминания вообще каким все оказывалось двусмысленным! Например, та естественность, с какою она пошла за ним, равно могла быть и безразличием, и уверенностью сердца. Та беспрекословность, с какою она угождала малейшему его желанию, могла быть и равнодушием, и самоотвержением. Если она к нему привязалась, как собачонка, то она и за каждым хозяином могла пойти, как собачонка! Он ведь подумал об этом еще в самую первую их ночь - и была ли это вообще ее первая ночь? Он обращал тогда внимание только на нравственные признаки, но вовсе не мог сказать, что физические были столь же очевидны. А теперь уже было поздно. Теперь на все легло ее молчание, и оно могло означать действительную невинность или упорство, хитрость или страдание, раскаяние, страх; но и стыд за него тоже. Теперь ему ничто бы уже не помогло, переживи он даже еще раз все с самого начала. Когда человеку не веришь, ярчайшие доказательства его верности предстанут тебе прямо-таки неопровержимыми свидетельствами обмана, а поверь ему раз навсегда - и очевидные факты покажутся проявлениями непонятной любви, плачущей, как поставленный родителями в угол ребенок. Ничего невозможно было понять и объяснить в отдельности, одно зависело от другого - нужно было верить или не верить всему в целом, все любить или все считать ложью, и знать Тонку значило каким-то особым образом отвечать на нее, объяснять ей самой, кто она есть, - ведь то, чем она была, и могла, и должна была быть, зависело почти целиком от него одного. И когда он добирался до этой мысли, образ Тонки затуманивался у него в голове и слепил, убаюкивал, как сказка.

Тогда он писал матери: "Ноги у нее от пола до колен такой же длины, как от колен доверху, и вообще они такие длинные, что могут шагать, как близнецы, не зная усталости. Кожа у нее не холеная, но белая и без малейших изъянов. Грудь, пожалуй, несколько тяжеловаты, и под мышками растут темные спутанные волосы, - и на белом гибком теле это выглядит так трогательно-бесстыдно. Волосы на висках свисают небрежными прядями, и время от времени она порывается их завить и взгромоздить наверх; тогда она становится похожей на горничную, и это, пожалуй, единственное зло, которое она совершила в своей жизни..."

Или он писал матери: "Между Анконой и Фиуме, а может быть, просто между Мидделькерком и каким-то совсем безвестным городом стоит маяк, свет которого каждую ночь, как раскрытый мерцающий веер, ложится на море; ляжет мерцающий веер, а потом - тьма, а потом - снова мерцанье. А в гористой долине Венны на лугах цветут эдельвейсы.

Что это - география, ботаника, навигация? Смутный образ, виденье, лицо - оно просто есть, здесь и отныне и во веки веков, везде и повсюду, и потому его будто и нет нигде. Или что это такое?"

Разумеется, он никогда не отсылал эти сумасбродные письма.

X

Не хватало какой-то неуловимой малости, чтобы убежденность стала уверенностью.

Однажды ему пришлось ехать вместе с матерью и Гиацинтом в поезде, и часа примерно в два ночи, в том состоянии безразличной усталости, когда тела уже совершенно безвольно качаются в купе из стороны в сторону, ища опоры, ему показалось, что мать очень доверительно прислонилась к Гиацинту и тот взял ее за руку. Его глаза тогда расширились от гнева, потому что ему стало жаль отца; но когда он подался вперед, Гиацинт сидел один, а мать дремала, отвернувшись от него. Через минуту, когда он принял прежнее положение, все повторилось снова. Он не понимал, мучится он так из-за того, что не может ничего разглядеть в темноте, или не может ничего разглядеть оттого, что так мучится. В конце концов он сказал себе, что теперь уж уверился точно во всем, и решил утром привлечь мать к ответу; с наступлением дня мысли эти рассеялись вместе с ночной тьмой. А еще раз - уже в

другой поездке - матери вдруг стало плохо, и Гиацинт, которого она попросила вместо нее написать отцу, недовольно спросил: "А что я ему напишу?" - он, который при каждой отлучке строчил матери длиннейшие послания! Дело кончилось скандалом, потому что мальчик опять пришел в неистовство, мать почувствовала себя еще хуже, совсем расхворалась, надо было срочно что-то делать, руки Гиацинта постоянно попадались ему в этой суете, и он каждый раз отталкивал их, пока Гиацинт как-то растерянно и грустно не спросил: "Ну, что ты все время меня отталкиваешь?" И его вдруг напугало настоящее горе, прозвучавшее в этом голосе. Так мало мы знаем о том, что мы знаем, и хотим того, чего хотим.

Все это понятно; и тем не менее он сидел в своей комнате, терзаясь ревностью и внушая себе, что вовсе это не ревность, а какое-то совсем другое, ни к чему не относящееся, неизвестно зачем вымышленное чувство хотя чувствовал все это он сам. Когда он оглядывался вокруг, все было на своих местах: зеленые с серым обои на стенах, красновато-коричневые двери, все в неверных солнечных бликах; дверные петли из потемневшей меди; стул красного дерева со спинкой из темно-малинового плюша. Но во всех этих вещах, хоть они стояли твердо и прямо, было что-то перекошенное, наклонившееся, почти падающее, и они казались ему далекими и бессмысленными. Он сдавливал пальцами глаза, оглядывался снова, но дело было не в глазах - вещи! В них надо раньше поверить, а потом только их воспринимать; если ты не научился смотреть на мир его собственными глазами, но уже держишь его во взгляде своем, то он распадается на бессмысленные частности, существующие в такой же тоскливой отъединенности друг от друга, как звезды в ночи. Стоило ему взглянуть на улицу из окна, и внезапно на мир извозчика, ждавшего внизу, наезжал и врезывался другой мир - мир проходившего мимо чиновника, и возникало что-то перекромсанное, какая-то мерзкая несусветная путаница и мешанина, хаос суетливых единичностей, окруженных каждая ореолом благодушия и самодовольства и с целеустремленно поднятой головой уверенно шагавших по этому опрокинутому, перевернутому миру. Хочу, знаю, чувствую - все это переплетено у нас в неразделимый клубок, и мы замечаем это, только когда теряем нить; но, может быть, можно вообще идти по жизни иначе - не держась за нить истины? В такие минуты, когда пелена холодного отчуждения отделяла его от всего мира, Тонка становилась для него больше чем сказкой - почти уже посланием свыше.

Тогда он говорил себе: "Либо я должен жениться на Тонке, либо расстаться с ней и со всеми этими мыслями".

Решится ли кто-нибудь осудить его за то, что он, побуждаемый такими причинами, не делал ни того, ни другого? Ведь хотя подобные мысли и чувства могут иметь свои основания, но нынче никто же не сомневается в том, что они на добрую половину химеры. От того он хоть и думал об этом, но думал не совсем всерьез. Иногда ему казалось, что ему ниспослано испытание, но когда он утром просыпался и разговаривал с собой как мужчина с женщиной, ему приходилось сознаваться, что испытание это было всего-навсего вопросом: собирается ли он и впредь, несмотря на почти стопроцентную вероятность того, что его обманули и что он законченный идиот, принуждать себя верить Тонке? Впрочем, эта унижительная для него перспектива уже во многом утратила свою остроту.

XI

Станным образом все это совпало с полосой его крупных успехов в науке. Он уже решил в основных чертах свою задачу и был совсем близок к практическим результатам. Его начали осаждать разные люди. Их интерес возвращал ему уверенность в себе, хотя речь шла только о химии. Все они были убеждены в успехе - вероятность была уже почти стопроцентной! И он оглушал себя работой, чтобы забыть.

Но в то время как упречивалось его общественное положение и он словно входил в

пору гражданской зрелости, его мысли, лишь только он отрывался от работы, мгновенно отправлялись вразброд по диковинным маршрутам; достаточно было имени Тонки зазвенеть в его душе, и перед ним оживали одна за другой какие-то фигуры, непроницаемые, как ежедневно встречающиеся на том же месте незнакомые друг другу люди. Появлялся тот ремесленник-тенор, с которым он одно время связывал факт Тонкиной измены, и все другие, кого он когда-либо в разной степени подозревал. Они ничего не делали - они просто ему являлись; или даже если они вытворяли самые ужасные вещи, это не меняло дела; а так как они иногда сливались по нескольку человек в одно лицо, то и ревновать было не к чему; все эти воспоминания таяли, становились прозрачными, как разреженный горный воздух, даже еще прозрачней, - и тогда возникало ощущение свободы и пустоты, лишённое всякой примеси себялюбия, и под этим высоким неподвижным куполом такими крохотными и ничтожными казались все житейские мелочи. А часто они совсем уже превращались в сон - или, может быть, все и с самого начала было сном, и когда работа его шла легче, он мгновенно воспарял в этот мир зыбких теней, и все это было ему как предостережение, что работа не есть еще подлинная жизнь.

Эти его сны наяву располагались в каком-то более глубоком слое, нежели часы бодрствования, и они были теплыми, как тесные горницы с низкими потолками. В этих снах тетка называла Тонку бессердечной за то, что та не плакала на похоронах бабушки, или какой-то омерзительный человек заявлял себя отцом Тонкиного ребенка, а она, вопросительно подняв глаза, впервые не отрицала, - просто недвижно стояла перед ним с какой-то отрешенной улыбкой; все это происходило в комнате, где стояли на красных коврах кадки с зелеными растениями, на стенах были синие звезды, а когда он поднимал взгляд в бесконечность, ковры становились зелеными, у растений появлялись огромные кроваво-красные листья, стены начинали отсвечивать желтым, как нежная человеческая кожа, а Тонка стояла на прежнем месте, как светлый и чистый лунный луч. Он почти осознанно жаждал этих снов, как простого теплого счастья; может быть, это была обыкновенная трусость, и они значили только: сознайся, Тонка, - и все будет хорошо. Их частые возвращения смущали его, но в них по крайней мере не было невыносимого, постоянно возрастающего напряжения бессонницы.

В этих снах Тонка всегда была безмерной, как сама любовь, а не простенькой продавщицей из магазина, которую он взял с собой, - но каждый раз она принимала другой облик. То она была своей собственной младшей сестрой, которой никогда не существовало; то просто шуршанием юбок, грудным звучанием незнакомого голоса, порывистой, стремительной поступью, - тогда в ней было все пьянящее очарование неведомых авантюр, вызываемое, как это случается только в сновидениях, одним лишь теплым и знакомым звуком ее имени; и все это дарило ему каждый раз радостное предвкушение обладания, хотя и было далеким и недоступным. Эти миражи пробуждали в нем какое-то легкое, беспредметное влечение, всеобъемлющая теплота затопляла его, но нельзя было сказать, отдаляла ли она его в такие моменты от Тонки или только теснее соединяла с ней. Когда он начинал проверять свои ощущения, он понимал, что эта загадочная суверенность любви и ее способность к перевоплощению должна была бы проявиться и в бодрствующем состоянии. Не тот, кого мы любим, является источником чувств, им якобы возбуждаемых, а сами эти чувства, как лампа, ставятся нами позади него и его освещают; но в то время как во сне еще существует тонкая трещина, отделяющая любовь от того, кого любишь, наяву она исчезает, и ты чувствуешь себя жертвой какой-то мистификации, тебя что-то как будто вынуждает боготворить человека, вовсе этого не заслуживающего. Он не решался поставить за Тонкой источник света.

Но то, что он теперь часто думал о лошадях, было както со всем этим связано и имело какое-то особое значение. Может быть, это была Тонка и их проигрыш в лотерее, или это было его детство, в котором он смутно помнил гнедых и буланых лошадей в тяжелых, украшенных кожей и медью сбруях. А иногда в нем вдруг вспыхивало пламенное мальчишеское сердце, для которого великодушие, вера и доброта не стали еще назойливыми

обязанностями, а связывались с рыцарскими приключениями в заколдованных лесах, с подвигами и избавлениями. Но, может быть, это была последняя вспышка перед угасанием, зуд от заживающего шрама. Потому что лошади неизменно везли дрова, и мост под их копытами отвечал глухим древесным звуком, а на кучерах были короткие фиолетовые и коричневые куртки. Они все снимали шапки перед стоявшим на самой середине моста большим распятием с жестяной фигурой Спасителя, и только мальчишка не снимал своего беретика на морозе, потому что он уже был умный и в Бога не верил. А потом он вдруг никак не мог застегнуть курточку просто ничего не получалось. Его детские пальчики, одеревеневшие от мороза, ухватывали пуговицу и с трудом подтягивали ее к петле, но как только он хотел ее туда всунуть, она выскальзывала и возвращалась на прежнее место, и пальцы повисали в беспомощной растерянности. Сколько бы они ни пытались, все кончалось этой растерянной одеревенелостью.

Это воспоминание возвращалось особенно часто.

XII

Пока он разбирался со всеми этими неопределенностями, беременность Тонки развивалась и настойчиво возвращала его к реальности.

Появилась отяжелевшая походка, потребность опереться на чью-нибудь руку, грузное тело, полное таинственной теплоты, особая манера садиться расставив ноги, неуклюже и трогательно-некрасиво; появились все признаки удивительных внутренних процессов, бесцеремонно превращавших девичье тело в семенную коробочку и изменявших пропорции - раздались и опустились бедра, колени утратили четкость контуров, окрепла шея, грудь превратилась в вымя, кожа на животе покрылась тонким сине-багровым узором вен, так что было даже страшно оттого, что так близко от внешнего мира пульсировала кровь - как будто это угрожало смертью. Новая форма равно насильственно и терпеливо сдерживала в рамках эту абсолютную бесформенность, и нарушение обычных пропорций отражалось в самом взгляде: он притупился и отяжелел, подолгу останавливался на предметах и отрывался от них с огромным трудом. Часто он останавливался и на нем. Она продолжала все делать для него и угадывала его малейшие желания, чтобы как будто хоть напоследок доказать ему, что для него одного она и жила; ни облачка стыда не появлялось в ее глазах за то, что она стала такой уродливой и некрасивой, - только желание успеть побольше сделать для него своими нерасторопными, отяжелевшими руками.

Теперь они почти так же часто бывали вместе, как раньше. Разговаривали они не много, но старались не отходить друг от друга, потому что беременность неумолимо продвигалась вперед, как часовая стрелка, и они были совершенно беспомощны перед ней. Им надо было бы объяснить, но продвигалось вперед только время. Иногда ему мучительно хотелось облечь в слова все свои сны наяву, он смутно догадывался, что все надо было оценивать по другим критериям; но, как начало всякого познания, это была именно смутная, неясная догадка. А время шло, убегало, терялось бесследно; часы на стене были ближе к реальности, чем мысли. Комната, в которой они сидели, была обычной меблированной комнатой, и ничего в ней не случилось грандиозного, и настенные часы были кухонными часами и время показывали кухонное, а мать атаковала его письмами, в которых все было доказано как дважды два: она не выслала обещанных денег, а явно истратила их на консультации у врачей, не теряя надежды его образумить: он все прекрасно понимал и даже уже не злился. Однажды она прислала в очередном письме последнее такое заключение, убедительно доказывавшее, что Тонка в то время все-таки ему изменила; но он воспринял это сообщение не как удар, а как почти приятную неожиданность; словно это совсем его не касалось, он начал прикидывать, как это реально могло произойти, и почувствовал только одно: бедная Тонка, сколько ей пришлось потом выстрадать из-за одной-единственной оплошности... Ему приходилось теперь удерживаться, чтобы не сказать, весело глядя Тонке

прямо в глаза: Тонка, послушай, я вдруг сообразил, с кем ты мне тогда изменила, - и как это мы забыли? Так все и шло. Ничего нового. Оставались только часы. И прежняя близость.

И хотя они так и не объяснились, эта близость постепенно вернула их чисто телесное тяготение друг к другу. Такие мгновения приходили, как без особых церемоний входят в комнату старые знакомые даже после долгой отлучки. Затемненные окна на той стороне двора смотрели слепыми глазницами, комнаты пустовали, потому что все люди ушли на работу, двор темнел глубоким колодецем, солнце светило в комнату как сквозь свинцовые стекла, и предметы, на которые ложился его луч, вспыхивали мертвенным светом. А однажды ему на глаза попался маленький старый календарь, - он был раскрыт так, будто Тонка только что его листала, и на бесконечном белом пространстве листка, как пирамида, возведенная в честь памятного дня, стоял нарисованный красным карандашом восклицательный знак. Все другие странички были заполнены записями повседневной жизни - ценами, заметками, - и только на одной не было ничего, кроме восклицательного знака. Он ни секунды не сомневался в том, что это была память о том самом дне, который Тонка так упорно скрывала, и уверенность, как кровь, ударила ему в голову. Но подтверждалась она только силой и внезапностью этой вспышки, - в следующее мгновение она опять улетучилась, превратилась в ничто: уж если верить этому восклицательному знаку, то с таким же успехом можно было поверить и чуду, и самое ужасное было как раз то, что он не верил ни тому ни другому. Но они испуганно взглянули друг на друга. Тонка, видимо, заметила листок в его руке. Предметы в неверном комнатном освещении вдруг застыли как собственные мумии. У них самих похолодели тела, кончики пальцев заledenели, и внутренности сжались в настороженный горячий комок. Правда, врач предупреждал, что Тонку надо было особенно беречь, чтобы избежать осложнений; но врачам-то как раз и нельзя было доверять в такую минуту. А все попытки устоять тоже оказались тщетными; может быть, у Тонки уже не было больше сил, и она как была, так и осталась еще не рожденным мифом.

- Иди ко мне, - позвала Тонка, и они разделили тепло и горе в печальной покорности судьбе.

XIII

Тонку положили в больницу - болезнь приняла дурной оборот. Ему разрешили ее навещать; он сидел при ней часами. Так проходило время.

В тот день, когда ее увезли, он сбрил бороду. Теперь он больше стал самим собой.

Но потом он узнал, что она в тот самый день - сгоряча, необдуманно, испугавшись, что будет поздно, сделала то, чего из соображений экономии долго не решалась сделать: пошла к зубному врачу и вырвала коренной зуб последний свободный поступок перед тем, как лечь в больницу. Он представил себе, как у нее теперь горестно впали щеки, потому что она никогда не просила о помощи и со всем хотела справиться сама. И его с новой силой начали преследовать сны.

Один сон возвращался в разных формах особенно часто. Худенькая невзрачная девушка с бледной, просвечивающей кожей рассказывала ему, что какая-то новая воображаемая возлюбленная его обманула, а он, снова насторожившись, как бы вскользь говорил: "А вы думаете, Тонка была лучше?" И он качал головой и нарочно делал скептическое лицо, чтобы заставить девушку столь же решительно отстаивать Тонкину добродетель; он уже предвкушал приятное облегчение, которое ему принесут ее слова; но вместо этого на губах девушки медленно появлялась улыбка, возникала прямо у него на глазах и с жуткой медлительностью распространялась по всему лицу, а потом девушка говорила: "Ах, она же была ужасная лгунья! Вообще-то она была хорошая, но у нее нельзя было верить ни одному слову. Она всегда мечтала стать знаменитой кокеткой". Самым мучительным в этом сне была не колючая и острая, как бритва, улыбка, а то, что он каждый

раз не мог ничего возразить на пошлую заключительную фразу, потому что чувствовал, что в безвольной вялости сновидения она как бы исходила от него самого.

Поэтому он часто молчал, когда сидел у Тонкиной кровати. Ему хотелось бы проявить великодушие, как в прежних своих снах. Может быть, он бы и проявил его, если бы хоть ничтожную долю энергии, с какою он работал над своим изобретением, обратил на Тонку. Врачи так и не обнаружили в нем самом признаков заболевания, и, таким образом, его уж точно соединяла с Тонкой таинственная, мистическая связь: стоило ему поверить Тонке, и он сам оказывался больным. Но, говорил он себе, может быть, в другое время это и было бы возможным - он охотно пускался в такие исторические размышления, - в другое время Тонка, может быть, стала бы прославленной красавицей, чьей руки не решились бы искать даже самые знатные князья; но в наши дни?! Надо было бы на досуге подумать об этом основательней. И он сидел у ее кровати, был с ней ласков и добр, но ни разу не сказал ей: "Я тебе верю". Хотя он давно уже верил ей. Но верил он ей просто в том смысле, что не мог больше питать к ней недоверие и обиду, а не то чтобы он готов был оправдать перед своим рассудком все вытекающие отсюда последствия. Он и держался только тем, что не додумывал до конца.

Атмосфера в больнице действовала на него угнетающе. Врачи, обследования, строгая дисциплина - мир насильно завладел Тонкой, прикрутил ее к столу. Но он уже воспринимал это почти как ее недостаток; в его представлении она была чем-то более глубоким, нежели то, что сейчас с ней делал мир. Но в таком случае надо было в самом мире все вообще изменить, чтобы за нее бороться, - и он уже начал понемногу отступать. Через несколько дней после того, как ее увезли, она стала отдаляться от него, потому что он не мог теперь изо дня в день хоть немного преодолевать отчужденность ее слишком простой жизни - отчужденность, которую он все-таки постоянно ощущал.

И поскольку у Тонкиной больничной кровати он мало говорил, он стал ей писать письма, в которых высказывал многое из того, о чем обычно умалчивал; он писал ей почти так же всерьез, как пишут вечной возлюбленной; и только перед словами: "Верю в тебя!" перо останавливалось. Тонка на эти письма не отвечала, и он растерялся. Потом только он сообразил, что он их не отсылал; они, собственно говоря, не столько выражали его мысли, сколько то душевное состояние, в котором лишь писание писем и может помочь. Тут он опять подумал, насколько ему все-таки было легче: он мог выразить себя, а Тонка не могла. И в ту же минуту он вдруг ясно понял ее всю - среди ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка! Но в следующую минуту это опять уже ничего не объясняло, и, может быть, она просто была хорошей девушкой, а время летело, и однажды его как громом поразило сообщение, что Тонка протянет недолго. Он осыпал себя отчаянными упреками за легкомыслие, за то, что недостаточно ее берег, но когда он об этом сказал Тонке, она рассказала ему про сон, который она видела минувшей ночью; потому что она тоже видела сны.

- Я знала во сне, что скоро умру, - сказала она, - и сама не знаю почему, но я так обрадовалась. А в руке у меня был кулечек с вишнями, и я подумала: ах, ну и пускай, вот еще только доем эти вишни!..

А на другой день его к ней уже не пустили.

XIV

Он говорил себе: может, не такая уж она и хорошая, как я вообразил; но именно в этом и обнаруживалась таинственная сила ее доброты - возможно, присущая равно и человеку и собаке.

Сухая, как поземка, горечь охватила его. Писать тебе я не могу, видеть тебя не могу - завывала она во всех углах его цитадели. Но, как Господь милосердный, я буду всегда с тобой, утешал он себя, не подразумевая под этим ничего определенного. А иногда ему

просто хотелось кричать: помоги мне, помоги ты мне! Вот я стою перед тобой на коленях! Он горестно твердил себе: вот человек, он совсем одиноко бредет со своей собакой по звездным горам, по звездному морю! - и слезы душили его, огромные, как небосвод, и никак не могли пролиться.

И он наяву начал домысливать Тонкины сны.

Однажды, представлялось ему, когда у Тонки не останется уже никакой надежды, он вдруг опять войдет и очутится рядом с ней. В своем коричневатом английском дорожном пальто в крупную клетку. И когда он его распахнет, там не будет никаких одежд, только его тонкая белая фигура с узенькой, увешанной звенящими подвесками золотой цепочкой на груди. И все прошлое наверняка сольется для нее в один день. Стало быть, он тоже тосковал по Тонке, как и она по нему. О, разве была в ней хоть капелька жадности! Никто, никто другой ей не нравился; когда за ней ухаживают, ей проще и легче с неловкой печальной усмешкой указать на непрочность таких отношений. А когда она вечером возвращается из своего магазина, она вся полна его шумной, то веселой, то надоедливой суетой; в ушах еще стоит этот гам, язык еще повторяет про себя заученные фразы, и какие уж тут чужие мужчины - для них и самого крохотного местечка не остается. И она чувствует, что там, в ее душе, куда не доходит вся эта суета, она все еще и благородна, и добра, и умна; там она не маленькая продавщица, а равная ему и достойная счастливой судьбы. Потому она и чувствовала всегда, несмотря на всю разницу между ними, что имеет на него право; в его делах она ничего не понимала, и это ее не касалось, - просто раз он был такой хороший, он принадлежал ей; потому что она тоже была хорошая, и где-то же должен был стоять дворец для хороших и добрых людей, в котором они имели право жить вместе и никогда не разлучаться.

Но что такое была эта доброта? Не действие. Не бытие. Проблеск света, если распахнуть дорожное пальто. Он все еще крепко цеплялся за землю и не договаривал еще до конца свою мысль, свое убеждение: "Верю в тебя!" - он все еще говорил: ну и пускай, даже если и так, кто может тут что-нибудь знать, когда ему сообщили, что Тонка умерла.

XV

Он дал сиделке денег, и она ему все рассказала. Тонка просила передать ему привет.

И тут совсем как-то мимоходом, как вспоминаются забытые стихи и ты бессознательно киваешь им в такт головой, у него промелькнула мысль: он вовсе не с Тонкой жил все это время - это что-то окликнуло и позвало его.

Он повторял про себя эту фразу, он вышел с нею на улицу. Вокруг него продолжалась жизнь. Он, конечно, понимал, что он изменился и изменится еще не раз, но это был все-таки он сам, и это, собственно, не Тонкина заслуга. Напряжение последних недель, напряжение от его работы над изобретением спало, - все кончилось. Он стоял в свете дня, она лежала под землей, но он все же воспринимал благодать света. Просто когда он невзначай оглянулся, взгляд его упал на плачущее лицо одного из игравших на улице детишек. Солнце било ребенку прямо в глаза, и лицо его кривилось и морщилось от слез, как безобразный червяк; и тогда все в нем закричало: "Тонка! Тонка!" Воспоминание пронизало все его существо, он чувствовал, ощущал ее в себе. Все, чего он никогда не знал, встало в эту минуту перед ним, с его глаз как бы спала пелена ослепленья; только одну минуту - потому что в следующую ему показалось, что он просто что-то случайно вспомнил. И с тех пор он не раз вот так вспоминал что-то, что помогало ему быть чуточку лучше других людей, - потому что на прославленной, блистательной жизни лежала крохотная теплая тень.

Тонке это уже не могло помочь. Зато ему помогало, хоть и слишком быстро течет человеческая жизнь, так что невозможно расслышать каждый из ее голосов и найти на него ответ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сборник вышел в 1924 г. в Берлине. Включенные в него произведения имеют самостоятельную творческую историю и первоначально публиковались порознь и в иной последовательности. "Гриджия" (1921) и "Португалка" (1923) связаны с впечатлениями, полученными писателем во время его пребывания на итальянском фронте в 1914- 1916 гг. "Тонка" (1922) была задумана первоначально как часть большого романа и основывается на истории Гермы Диц, девушки из рабочей среды, связавшей свою жизнь с Робертом Музилем в Брюнне в 1901 г., последовавшей за ним в Берлин и там вскоре умершей при обстоятельствах, сходных с описанными в новелле. Объединенные в триптих, новеллы, сохраняя внутреннюю самостоятельность, собственные ведущие темы и проблематику, обнаруживают глубинную связь друг с другом. Одной из "сверхтем", нити которой тянутся из прошлого (от сборника "Соединения") в будущее (любовные истории Ульриха в "Человеке без свойств"), предстает тема "соединения" мужского и женского начал, тема "иноя состояния", в котором "рациоидное", активное, интеллектуальное начало стремится к слиянию с "нерациоидным", пассивным, чувственным. В результате - по Музилю - в абсолюте, в идеале должна возникнуть сверхчувственная, но и одновременно сверхинтеллектуальная ситуация, состояние, подобное интеллектуальному оргазму творца, вдруг ощущающего в себе потребность к Акту творения, которому вдруг "показывается" Истина мира.

Крайне любопытны в новеллах и объединяющие их друг с другом пространственно-временные структуры, используемые автором замыкания абсолютного и анонимного пространства до пределов пещеры в "Гриджии", комнаты в замке фон Кеттена в "Португалке", скромного прибежища бедных влюбленных в "Тонке". Обращает на себя внимание прием торможения и остановки времени, используемый автором: смерть времени может принести героям и их личную смерть (погибает в пещере Гомо, умирает в больнице Тонка), и выздоровление, пробуждение к "иной" жизни (фон Кеттен и его жена сказочным образом обретают счастье). В "Тонке", представляющей своего рода новеллу-"антисказку", в которой люди стремятся дать загадочному факту рациональное объяснение, отказываясь верить в волшебное событие, свершившееся вопреки внешней очевидности, главный герой выживает потому, что его погружение в мир "иноя состояния" - лишь попытка, проба на пути в мир обыденный, а не желание жить этим состоянием.

Новеллы публикуются по изданиям: Музиль Р. Тонка ("Иностранная литература". 1970. Э 3). - Он же. Гриджия. - Португалка. (Сб. Австрийская новелла XX века. М., 1981).

Ферзенская долина - одна из горных долин в Северной Италии.

Сельвот - гора в Южном Тироле.

полента (ит.) - кукурузная каша. В рассказе данное название используется для обозначения кукурузной муки.

друза - форма минерального агрегата, представленная группой кристаллов, выросших на общем основании.

Сан-Ореола - деревня в Ферзенской долине.

Тридентский Собор (сер. XVI в.) - Вселенский Собор католической церкви, закрепивший основные догматы католицизма и усиливший гонения на еретиков.

мальга (ит.) - собств., горное пастбище.

Фаррар Джеральдина (1882-1967) - американская оперная певица, с успехом дебютировавшая в 1901 г. в Королевской опере в Берлине.

Гронлейт - гора в Южном Тироле.

статуи Микеланджело - имеются в виду четыре парные статуи капеллы Медичи в церкви Сан Лоренцо во Флоренции, выполненные выдающимся итальянским скульптором Микеланджело Буонаротти (1475-1564).

Бриксен, Триент - немецкие названия северо-итальянских городов Бриссаноне и

Тренто.

капитул - в католической церкви совет из духовных лиц при епископе, участвующий в управлении епархией.

В тот год... - Музиль познакомился с Гермой Диц в 1901 г., когда проходил военную службу.

"Фрагменты" Новалиса - одно из важнейших философских произведений немецкого поэта и прозаика Новалиса (Фридриха фон Гарденберга, 1772-1801), представителя раннего романтизма.

"Ему с крылатою мечтою..." - строки из баллады Фридриха Шиллера "Ивиковы журавли" в переводе В. Жуковского.

Анкона - портовый город на Адриатическом море (Центральная Италия).

Фиуме (Риека) - югославский порт на Адриатическом море.

Мидделькерк - бельгийский морской курорт.

Венна - горная речушка к северу от Бреннера, одного из древнейших перевалов в Альпах.

А. Карельский